Леонид Моряков

Непримиримые

Рассказы о репрессированных и их потомках. Репрессированных, но не сломленных…

«Помни случай с Ивановым»

Иванов поймал себя на том, что думает по-русски. Обрусел за каких-то полгода. Память детства вбирает все и навсегда.

Отец покинул Россию на одном из кораблей французской эскадры, отходившем от Севастопольского причала в ноябре двадцатого. Еще в первую после переворота весну, когда ему передали, что озверевшее мужичье разграбило и сожгло под Мстиславлем их родовое поместье, отец стал искать смерти. Он хотел умереть в бою, давя эту чернь, пуская в распыл десятки, сотни «краИванов поймал себя на том, что думает по-русски. Обрусел за каких-то полгода. Память детства вбирает все и навсегда.

Отец покинул Россию на одном из кораблей французской эскадры, отходившем от Севастопольского причала в ноябре двадцатого. Еще в первую после переворота весну, когда ему передали, что озверевшее мужичье разграбило и сожгло под Мстиславлем их родовое поместье, отец стал искать смерти. Он хотел умереть в бою, давя эту чернь, пуская в распыл десятки, сотни «красных». Воевал отчаянно, с завидным умением, приобретенным еще в германскую. «Красные» шарахались от его полка, как от чумы. Знали: чтобы противостоять сводному, необходимо обладать многократным перевесом. Офицеры полка, в котором не было рядовых, даже раненые, уносили с собой в могилу по нескольку буденовцев.

Но все было напрасно. Порядок побеждает, парализует толпу, однако многочисленные массы взяли верх над порядком.

Впрочем, о порядке в то время вряд ли стоит говорить. Страна неслась неведомо куда, как обезумевшая от боли подстреленная в бою лошадь. Людские толпы в изорванных серых шинелях волнами перекатывались то с запада на восток и с востока на запад, то с юга на север и с севера на юг. Разные знамена развевались над этими серыми массами, но очумевшие, озлобленные рты извергали одно и то же: «Смерть! Смерть! Смерть!» И если бы кто-нибудь остановился да прислушался к этим крикам, понял бы: смерть угрожает всем и всему. Только остановиться и задуматься тоже было смертельно опасно: тебя тут же раздавила бы и смела мятущаяся толпа. Многие не дожидались, когда их раздавят, пускали себе пулю в лоб. И рука отца не однажды тянулась к пистолету. Последний раз — на том французском корабле, уходившем из Севастополя. Это был не уход, это был крах. Конец всего: веры, надежды, жизни.

Тогда, на пароходе, отец не застрелился. Уже достав пистолет, увидел поднимавшихся на палубу жену с сыном и опустил руку: без него на чужбине слабая здоровьем Натали и восьмилетний Митя не выживут.

С ним и благодаря ему — выжили. Как, где и сколько скитались? По каким турецким, греческим, арабским берегам? За что и почему? Отчего сам Бог отрекся от них? Время, известно, лечит, однако некоторые раны, в первую очередь душевные, — и обостряет. Он понял это не сегодня и не вчера, понял, наблюдая за отцом и матерью. С годами, с возрастом к ним так и не приходили умиротворение, душевное равновесие и благодушие. Они, бедолаги, старались и виду не подавать, что их нечто гнетет, но это плохо удавалось — выдавали глаза. В глазах затаилась безысходная, неодолимая тоска. Он не сразу понял, что это тоска по Родине. Сам он был уже европейцем, которым, как правило, не свойственна ностальгическая меланхолия. Она присуща славянам, главным образом — восточным. Именно они наиболее склонны предаваться самоистязанию. Он чуял эту неизлечимую болезнь у родителей. Жалел их, а помочь не мог. И рад был, узнав, что отец что-то пишет, скорее всего — воспоминания. И, несмотря на молодость, понял: для отца, а следовательно, и для матери — это отдушина, дающая душевное облегчение.

Ну а сам он? Напишет когда-нибудь о своей жизненной дороге, о своем поначалу тихом и уютном, а потом беспокойном, военном детстве? Вряд ли. Да и было ли оно?

В школу, сразу в третий класс, Митя Иванов пошел во Франции. С шести лет его обучали латыни, немецкому и, конечно же, языку Наполеона. От всех этих «Monsieur Dimitri, commençons notre leçon par ce que nous avons appris hier. Et bien, continuons la conjugaison des verbes du troisième groupe…»[1] у мальчишки к вечеру кружилась голова.

Отец шутил, говоря матери:

— И зачем ему французский? Я понимаю, лет сто назад, когда Бонапарта провожали до Парижа. А теперь?

Но донимали его языками не зря.

В пятнадцать лет он увлекся Гете, а в семнадцать стал студентом Берлинского университета. Учение давалось легко, свободного времени было вволю, и снова, как и во Франции, занялся любимым бегом. Через год эмигранта заметили тренеры, и на четвертом курсе

---

[1] Мсье Дмитрий, начнем с повторения вчерашнего материала. Продолжим спряжение глаголов третьей группы… (франц.)

«француз» стал чемпионом университета. Вскоре его негласно включили в молодежную сборную и даже начали готовить (с перспективой смены гражданства) к предстоящей — Берлинской — олимпиаде.

Но — шел черный 1933-й. Менялись времена, менялись нравы. Не избежал перемен и он.

На каникулах перед последним курсом его пригласили в старинное двухэтажное здание. Оттуда он вышел другим человеком. Затем снова учеба, точнее — обучение. В спецшколе. Два года по шестнадцать, а то и по двадцать часов в сутки. Обучение, во время которого он не раз мог отдать Богу душу.

Но все когда-нибудь кончается. Миновали и те два года. А потом и еще один, к исходу которого он очутился здесь — в Амурдальлаге.

Легенда сработала идеально. Иванов получил свои полтора года за хулиганство, и к тому времени, когда события начали свой ошеломляющий бег, треть срока осталась позади. Он понимал, что программа его засылки долговременная, но если раньше ему только казалось, то теперь был уверен: знали бы там, что это такое — полтора года в Амурдальлаге, — приняли бы другой вариант внедрения. Сутками голодать, не спать, не разговаривать во сне, терпеть неимоверную боль, сносить унижения, не показывая, что ты можешь дать отпор, — этому его обучили еще там. Но спокойно наблюдать, как убивают за кусок хлеба, как пытают и насилуют, он так и не научился.

В ту ночь шакалы облюбовали соседа Иванова по нарам, малолетку. Паренек был худ и слаб. Утром его переводили в инвалидный лагерь, и эта ночь была для мальчишки последней в их бараке. Звали беднягу, как и его когда-то, — Митей.

Шакалов было трое. По отработанной схеме с разных сторон они накинулись на парня и в считанные секунды связали. Сначала к Митюне полез главный. Зверь он и есть зверь: не знает сострадания. Не знали и шакалы…

Утром, когда вертухай прокричал: «Подъем!», трое в центральном секторе не поднялись. Не напугал их и вопль: «Пристрелю!». Они уже никого не боялись.

После того как определили, что все трое заключенных умерли вследствие перелома шейной части позвоночника, в лагерь прибыла следственная бригада энкаведистов. Виновников не нашли, и четверых подозреваемых — их нары были ближе других к нарам убитых, а заодно и дежурного по бараку постановили расстрелять. Дежурным оказался Иванов.

Ночью он не спал и, когда еще задолго до рассвета их поднимали, заметил, что будят зеков новички из третьего взвода. Командир, видимо, решил: пора новому контингенту пройти крещение — первое участие в расстреле.

Новички… Бог снова за него. Теперь на пути туда главное — ничего не упускать из виду: ни слов, ни движения. Спасение именно в движении. В пути туда. Там будет поздно. Там — шанса нет. Шанс только по дороге к месту расстрела.

Успокоился, задышал ровнее: в цепочке приговоренных удалось стать последним. В разведшколе такую ситуацию отрабатывали. И он уже знал: последний — это в его пользу, его дополнительный шанс. И он тот шанс не упустит.

Их вели долго. Первогодки намеренно тянули время. Непросто это — убивать в первый раз. Плелись ни шатко ни валко. Десять солдат, помкомвзвода и пятеро зеков все дальше уходили от лагеря.

Краем глаза Иванов отслеживал расстояние между собой и младшим лейтенантом. Неожиданно тот положил руку на кобуру и стал нервно по ней похлопывать.

Когда они в очередной раз сблизились, помкомвзвода вынул пистолет. Иванов глубоко вдохнул, выдохнул и — распрямился в прыжке. Тренированные руки, как и в ночь, когда он вступился за Митю, действовали молниеносно. Удар локтем в лоб оглушил лейтенантика, тот не успел и мыкнуть. Левой рукой Иванов прижал к себе за шею обмякшее тело, а правой вырвал пистолет из руки. «ТТ», — на ощупь узнал оружие, которым досконально овладел за два года спецшколы. «Хорош, но с “ТТ” просто Бог», — говорили о нем. Посмотрим, на что же Бог способен.

Когда солдаты опомнились и открыли огонь, первые пули приняло на себя тело лейтенанта. Отступая с этим необычным щитом от конвоя, Иванов увидел, как, воспользовавшись замешательством охраны, пустились наутек и остальные смертники. Но куда там! Стреляя в него, конвоиры не забыли и о других.

А Иванов отходил все дальше и дальше. Наконец бросил наземь спасительный груз и нырнул в заросли можжевельника. Немного пробежал, взял левее, затем еще круче ушел в сторону и, оказавшись в нескольких десятках шагах справа от стрелков, остановился, замер.

Первогодки растерялись без командира, за Ивановым не погнались, а открыли беспорядочную пальбу по кустам. Позже один из них, видно, взял инициативу на себя: выстрелы прекратились. Двое пошли добивать раненых, остальные потянулись к тому месту, где

видели Иванова минуту назад. Эх, лучше бы им оставить его в покое…

Силуэты последних двоих, еще не успевших сойти с тропинки, он какое-то время разглядывал через мушку пистолета. Прицелившись, дважды нажал на спуск. Словно от удара одной плетью, стрелки раскинули руки и упали, как подкошенные, в снег.

«Осталось восемь», — отметил Иванов.

Первогодки-охранники чем-то напоминали ему буденовцев — их он однажды видел из-за спины отца во время внезапно начавшегося боя. Буденовцы так же оравой сновали по полю. Только тогда на месте десятка убитых вырастали сотни новых. Теперь новых не видно.

«Надо спешить», — решил Иванов, но не побежал, а потихоньку подался прочь от тропинки. «Осталось восемь», — повторил, как заклинание.

Стрелки, хоть и первогодки, вскоре смекнули: «Зек свернул». Пока нашли место, где это произошло, Иванов уже был на расстоянии верного выстрела позади последнего в цепочке. И снова, не спеша, прицелился. В лесу стояла тишина, и ему показалось, что выстрел прогремел, как разрыв гранаты. Стрелок упал. Пуля попала ему в спину и, похоже, перебила позвоночник. Он уже не дышал, а между деревьев еще долго летел его предсмертный крик.

Семеро стрелков бросились наземь и, как их учили, расползлись, занимая круговую оборону.

«Молодцы! — похвалил Иванов. — Теперь можно отойти». Но, чуть помедлив, с места не двинулся, присел понаблюдать, что будет дальше. Затихли и стрелки, прислушивались: может, беглец пошевелится, выдаст себя?

Хватило у них выдержки не надолго. Вскоре солдаты осмелели, зашевелились, начали переговариваться. Иванов же по-прежнему не высовывался, ждал, когда высунутся они. Беспокоила мысль: как далеко отошли от лагеря? Слышны ли там выстрелы? Если слышны, то надо бежать дальше, если нет — можно дать себе передышку.

Вздрогнул от увиденного: солдат, выделявшийся среди других ростом, который сначала держался за лейтенантом, а потом — в середине группы, благодаря чему остался жив, вроде как бросает ему вызов: то и дело приподнимает голову, подносит к глазам бинокль, выставляет напоказ свою смелость, свое превосходство над остальными — превосходство нового командира. «Зря это ты, паренек!» — не сказал, а подумал, и прицелился. Пуля прошила солдатику горло, и он не успел даже вскрикнуть.

«Шесть, — машинально подытожил Иванов. — Почти половина».

Стрелки снова затаились.

«Надо пошуметь, — решил Иванов, — а то так и пролежат до прихода подмоги». И ринулся в заросли, ломая ветки и кусты.

— Вертухаи-и-и! — отдавался эхом его крик.

Это, как и ожидал, вернуло первогодкам смелость, и те кинулись за ним.

«Уже веселее, — выдохнул Иванов. — Поиграем в перегонки, посмотрим, кто кого». И побежал резвее. Устремился не прямо, а наискосок, подальше от тропинки и от лагеря.

Стрелки были молоды, тренированы, но все же не чемпионы Берлинского университета — и вскоре отстали. «Спеклись солдатики, — спиной почувствовал Иванов. — Теперь — затаиться и ждать».

Прошли долгие минуты, прежде чем показались запыхавшиеся преследователи. Они устали бежать, устали бояться и уже не остерегались, не оглядывались по сторонам. Их вел только раж погони, нетерпение охотников.

Иванов снова прицелился. Движущаяся живая цепочка и в нем вызвала азарт, неодолимое желание перебить всех. Поднял пистолет. И когда серая шинелька попала ему на мушку, выстрелил. Потом еще, еще... Трое упали от его выстрелов, остальные сами рухнули в снег. А Иванов все жал и жал на курок, не замечая внезапно наступившей тишины.

«Нервы! — наконец спохватился. — Нервы, как и память, — не спрячешь».

Поняли и преследователи, что у беглеца не осталось патронов. Поднялись, двинулись вперед. Охотники настигали добычу.

Иванов рывком сжал до боли кисть в кисти, приводя нервы в порядок. Оглянулся. Неужели все, конец? Нет! Предательской дрожи в теле не чувствовал, голова работала трезво. Мелькнула мысль: он не в поле — в лесу, вокруг деревья. Может, они последняя надежда? Может, они помогут, спрячут, спасут?

Ели стояли густо, близко одна от другой, так что можно было, пожалуй, перепрыгнуть с дерева на дерево. Что же, попробуем. Больше и в самом деле ничего не остается.

Иванов полез на ближайшую ель. Полез легко, быстро, как обезьяна. «Дарвин не ошибался насчет происхождения человека. Дарвин не ошибался», — не очень кстати всплыла мысль. Но разум отбросил ее. Иванов подумал о другом. Взбираясь на елку, он раз за разом повторял, будто успокаивал себя: «Трое. Их всего трое. Трое — это не восемь и не семь». И как бы подзадоривал их: «Пусть подходят

ребята, пусть». Он сверху проследит за ними, хорошенько проследит! А уж они за ним — как Бог даст.

Стрелки приближались не торопясь. Хватит, набегались. Подошла их очередь. Теперь-то они отведут душу, поиздеваются всласть.

Окружили елку, на которую только что залез беглец. И когда один из них на мгновение оказался к Иванову спиной, тот прыгнул. Интуиция что-то подсказала стрелку, заставила обернуться, но спасти не смогла. Ударив ручкой «ТТ» охранника в висок, Иванов бросил его на ближайшего товарища, а сам, прыгнув на третьего, рванул к себе винтовку. Безошибочно рассчитав, что тот вцепится в нее мертвой хваткой, воспользовался этим и, сменив центр тяжести, развернул его перед собой.

И не ошибся.

Второй стрелок оттолкнул от себя мертвое тело и, поймав взглядом ненавистную фуфайку, мгновенно вскинул винтовку. Дожимая курок, видел, как фуфайку перед ним закрывает шинель. Он понимал, что происходит, но остановиться не мог: палец не слушался. Пуля прошла сквозь стрелка, не задев Иванова.

«Это уже не гены и не Дарвин, — подумал он. — Это — Бог!»

«Финиш, дружок», — прочел в глазах Иванова последний оставшийся в живых и, в ужасе ничего не соображая, бросил винтовку и рванул в лес, за деревья, в никуда, только бы подальше от этого непонятного, дьявольского, несущего смерть существа.

Но он тоже не был чемпионом Берлинского университета. Охотник превращался в добычу.

Иванов не сразу остановил стрелка. Не было желания. Расхотелось. Разохотил его крик. В нем, полном ужаса, прозвучало нечто до боли знакомое, родное. Он крикнул, нет — жалостно простонал: «Мамачка, ратуй!»[1]. Не иначе, земляк. А мог убить земляка. Еще мгновение назад. А сейчас вот не хочет. Но и отпускать — нельзя.

Вскинул винтовку, прицелился, приказал резко и требовательно:

— Стой!

Полы шинели перестали болтаться, беглец — уже не стрелок, а беглец — замер, словно от выстрела.

— Так-то лучше! — сказал Иванов достаточно громко не то себе, не то ему. — От меня не убежишь. Как от судьбы. Можа, пагамонім, а?[2]

---

[1] Мамочка, спаси! (бел.)
[2] Может, поговорим, а? (бел.)

И пошел к солдату. Тот покорно ждал.

Часовой на ближайшей к лагерным воротам вышке первым заметил пробирающегося вдоль проволочного ограждения зека. «Беглец!» — смекнул. От волнения забыл о первом предупредительном выстреле, прицелился и нажал курок.

Зек споткнулся, попытался, словно чем-то удивленный, обернуться, но не смог — сполз в снег.

Когда к неподвижному беглецу подошел начальник охраны, губы переодетого в зековскую фуфайку первогодка со странным для здешних мест именем Змитрок еще шевелились:

— Ён чамусьці назваў мяне будзёнаўцам, спытаў па-нашаму, як завуць, і адпусціў...[1] — произнес Змитрок последние в своей жизни слова на родном языке.

И спустя двадцать, и тридцать лет каждого охранника-новобранца, прибывшего в Амурдальлагерь, непременно вели на местное кладбище к могильному столбику со стесанной боковиной, регулярно обновляемая надпись на которой предупреждала:

[1] Он почему-то назвал меня буденовцем, спросил по-нашему, как зовут, и отпустил... (бел.)

Последние каникулы Валерия Морякова

Было позднее утро. Они сидели в пивном погребке Авербаха вдвоем — Валерий и Тодор. Выпив по кружке, взяли еще. Головы после вчерашнего всенародного праздника — годовщины Октябрьской революции — постепенно просветлялись, и Тодор спросил:

— Ты хоть помнишь, чего наговорил вчера перед уходом?

Валерий, само собой, помнил, но до смешного заговорщицкая настороженность Тодора неожиданно вызвала желание поиграть с огнем, притвориться и в самом деле несколько потерявшим рассудок.

— Ну-у… — неопределенно протянул. — Не так чтобы очень…

— Не так чтобы очень? — на манер Валерия повторил Тодор, возмущенно подняв брови. — Доиграешься! Такими вещами, брат, не шутят! За такие разговоры могут и…

— Спокойно, не шуми, — не дал договорить другу Валерий, увидев, что тому не до шуток. — И не смотри на меня как на сумасшедшего. Помню я все! И понимаю, что об этом — лучше помалкивать. Но кто-то же должен знать! Кто-то должен знать все! Потому и говорю. Тебе, не кому-нибудь. Помнишь Николая? Военного, командира, того, что все об исчезнувшем поэте Владимире Жилке спрашивал? Так вот слово свое Николай сдержал. Перед отъездом куда-то на юг, на новое место службы, достал то, что обещал…

Валерий огляделся по сторонам, отвернул полу пиджака, и Тодор увидел маленький, с ладонь, словно игрушечный пистолет. Успел заметить на рукояти монограмму, напоминавшую большую латинскую букву N.

— Браунинг! — чуть шевельнул губами Валерий.

У Тодора перехватило дыхание: шепот ему показался криком. Хотел что-то сказать, но не смог — как будто чья-то цепкая рука схватила его за горло.

«За одно неосторожное слово энкаведисты людей в тюрьму бросают, а за это… Пожалеешь, что родился!» — подумал Тодор, но вслух ничего не сказал.

Валерий, видя окаменевшее лицо друга, пытался его успокоить:

— Не волнуйся, кроме нас, никто ведь не знает.

Но Тодор все не мог прийти в себя от увиденного и услышанного. Чуть погодя прошептал:

— Ты и впрямь с ума сошел! Представляешь, что будет, если его найдут? Они тебя заживо сгноят!

Валерий помрачнел. Тодор, конечно, говорит правду. Да только соглашаться с ним сейчас не хотелось. Эта не тяжелая, почти детская

игрушка что-то в одночасье изменила в его сознании. Теперь он защищен! Теперь он способен постоять (и постоит!) за себя.

— Не сгноят! — сказал тихо, но твердо. И повторил: — Теперь не сгноят!

Тодор понял, о чем говорит Валерий. И к нему приходили мысли о том, чтобы как-то попытаться раздобыть оружие. Но — как приходили, так и уходили. А Валерий, как видно, решился. Задумал и добился своего. И доволен, понятно: как же — браунинг в кармане. Чудак! Разве это спасет? Скорее наоборот — ускорит гибель. Молодняк! Все-таки шесть лет в таком возрасте — большая разница. В сравнении с ним Валерий — вовсе мальчишка. И задумки у него мальчишечьи. Надеется на браунинг…

Валерий же эту минуту-другую молчания-размышления Тодора понял по-своему. Не отвечает друг — значит, соглашается с ним, понимает и поддерживает, а может, и просто завидует. И с той же твердостью, убежденностью в голосе сказал своему хорошему и надежному товарищу, почти брату:

— Я все продумал и предусмотрел. В Минске меня не будет, уезжаю в Бобруйск. Буду преподавать в школе. Может, хоть на какое-то время энкаведисты забудут, что был такой Валерий, который когда-то в письме своему товарищу Василю написал: «Хай скрыгочуць здраднікі Айчыны // З іх бяссільнай злосцю у вачах, // Наша мэта — дарам не загіне, // І не згаснуць сілы у грудзях!»[1] Вроде правильные, как они говорили, слова, а на допросы за них три месяца таскали. И запомни главное: если меня не станет — я не исчез и не получил десять лет без права переписки. Просто не дался живым. Так после и расскажешь…

Если бы Валерий знал или догадывался, о чем сейчас думал Тодор, сильно обиделся бы на друга. Он, понятно, более молодой, но ведь это недостаток, который быстро проходит. Да и не слепой он и не глухой. Видит, что происходит. Все они, кто пишет на родном языке, — враги и националисты. Все! Даже Янка Купала. Замахнулись и на него. Поэт так ни разу и не заговорил про это. Но зато не молчала тетя Владя. И он, Валерий, хорошо знает, почему у дяди Янки немного скривлена нижняя губа. А что до молодости… Может быть, именно потому, что молодой, он и не станет покорно ждать, пока в одну темную ночь затарахтит «черный воронок» под окнами. Может быть, это как раз его преимущество — молодость. Она даст ему

---

[1] Пусть глядят изменники Отчизны // С их бессильной злобой на глазах, // Но идея — даром не погибнет, // Не уста¬нет сердце бить в груди! (бел.)

решительность и смелость действовать. Защищать себя. Это, конечно, невеликий подвиг. Ну, а если бы так же поступил и еще кто-нибудь? А если бы каждый, все?

Валерию пора было уходить, но, видя, что Тодор по-прежнему взволнован, не успокоился, посидел еще немного. Наконец поднялся и, как и перед этим, тихо повторил:

— Запомни: живым не сдался. Говорю это тебе, потому что, хочется верить, тебя — не возьмут. Слышал, какие дифирамбы тебе партийный Андрей-Соловей поет? «Берите пример с Тодора. Тодор уже перестроился». Словно забыл, что ты когда-то сам вышел из комсомола и «хадзіў пад месяцам высокім, а яшчэ — пад грозным ГПУ»[1]...

Положил на стол несколько рублей, еще раз взглянул на друга, махнул рукой и направился к выходу.

Больше Тодор его не видел. Но не забывал. Не мог забыть. После того утра даже уснуть боялся: вдруг во сне возьмет и ляпнет что-нибудь «не то»? И все чаще наведывался в погребок Авербаха. Осушив три кружки «темного», спал спокойнее.

А Валерий, как и говорил, уехал в Бобруйск учительствовать. Вел уроки, проверял тетради, вечерами что-то писал (пробовал себя в новом жанре — драматургии), а душою, наперекор предосторожности, рвался в Минск, где была мать, где остались друзья и коллеги. И, дождавшись каникул, сразу же поспешил на минский поезд.

Молодость оборачивалась недостатком: мальчишеское нетерпение брало свое, подталкивало к легкомыслию. Да и как было не поехать? Сколько можно бояться? Поеду! Навещу! Туда и обратно!

Заволновался уже в Минске, на вокзале, когда подошел к дверям вагона, чтобы спуститься по ступенькам на перрон. Спустился и заметил стоящую кучно, но поглядывавшую в разные стороны — словно многоголовый змей — четверку. С ходу понял: энкаведисты. Пассажиры — по большей части подростки — сновали по перрону, переговаривались, шумели, толкались. Каникулы! Но эту четверку никто ни разу не задел. Даже вскользь. Как будто вокруг них было какое-то непробиваемое заколдованное пространство. «Мертвое поле», — словно вспомнив что-то из Уэллса, неожиданно отметил Валерий.

Энкаведисты его еще не увидели, и можно было вернуться в вагон, попытаться каким-то образом скрыться. Но сделать это помешала логика. Когда-то на следствии логика его не подвела. Сейчас тоже рассудил логически: «А может, это и не по мою душу?

---

[1] Ходил под луною высокой, а еще — под грозным ГПУ (бел.)

Ведь недавно меня арестовывали и, разобравшись, как они сказали, отпустили. Зачем же арестовывать только что освобожденного?»

Но в этот раз логика Валерия как раз и подвела. И не просто подвела — погубила. Четверо в кожанках ждали именно его, приехали на вокзал по его душу. Спустя минуту он понял это и успел еще горько усмехнуться над собой и над своей разумной человеческой логикой. Нашел, глупец, у кого искать последовательность. У волков одна логика — хватать и рвать. Так и у этих...

Когда Валерия окружили, предпринимать что-либо было поздно. Пожалел лишь о том, что не взял в Минск пистолет. Это же надо так опростоволоситься! Обещал же себе и Тодору живым не сдаваться, забрать с собой в могилу хоть одного энкаведиста. А получилось все наоборот. Не он — его забрали. Эти школьные каникулы совсем сбили с толку молодого учителя белорусского языка и литературы, классного руководителя 7 «А» класса Бобруйской школы-интерната для детей-сирот. Забегался, забылся, расслабился с ребятами. Думал — постучат в дверь, он откроет и, убедившись, что пришли за ним, достанет из кармана пистолет. Считал почему-то, что именно так и будет: за ним придут. А они — не пришли и не постучались. Они ждали на вокзале, среди детей.

Валерий не знал, что другая четверка как раз в это же время в Бобруйске стучится в его дверь. Не знали и энкаведисты, что, если бы пришли туда днем раньше, напоролись бы на пули.

Не знал, даже и в мыслях не допускал и друг Валерия, тихий и осмотрительный Тодор, что ровно через год его, как контрреволюционера, расстреляют в тех же казематах, где и Валерия, — на следующий день после него.

Не знала о расстреле Тодора и его жена Янина. И в самом страшном сне не могло ей присниться, что ожидаемый ею ребенок родится в концлагере.

Не знал и Андрей-Соловей, что хвалебные оды большевизму не спасут его от всевидящего ока. Арестуют поэта-комсомольца также не ночью и не дома, как это обычно делалось, а воскресным утром. Его найдут вместе с другом на рыбалке. Стоя по колено в воде, Андрей передаст удочку товарищу и скажет: «Микола, держи! Через час вернусь».

После бесед в «американке»[1] с наркомом внутренних дел БССР Наседкиным тот час растянется сначала на десять лет, потом — еще на семь.

Из тюрьмы Андрей выйдет только после смерти человека, режиму которого посвятил сотни пламенных строк. Неизлечимо больной, проживет после освобождения (как и его товарищи, тоже бывшие лагерники, поэты Язэп Пуща и Гирш Каменецкий, литературные критики Микола Алехнович и Степан Барковский) всего несколько лет. Последнее, что вырвется из высушенного туберкулезом тела, будет все то же пламенное: «Если бы Ленин был жив!»

Не знал Андрей Александрович, что сам он выжил только потому, что Тодор Кляшторный, Валерий Моряков и их друг Василь Коваль за год пыток в американке так и не «вспомнили» его фамилию.

Через год получил свою десятку и друг Андрея по той памятной рыбалке — Микола Хведорович. Тоже — за память. В тюрьме он прочтет слова, выцарапанные в день расстрела поэтом Михасём Чаротом, и сохранит их для потомков:

Прадажных здрайцаў ліхвяры
Мяне заціснулі за краты.
Я прысягаю вам, сябры,
Мае палі,
Мае бары, —
Кажу вам — я не вінаваты!

Нет человека — нет проблемы. Нет поэтов — нет памяти — нет истории — нет народа! Вот эту историю вместе с народом они и уничтожают. Когда — мечом, когда — огнем.

[1] Внутренняя тюрьма НКВД в Минске, названа так за свою «американскую» архитектуру — в виде круглой башни диаметром в несколько десятков метров.

Анна Тимофеевна

— Товарищи комсомольцы! — поднял руку, призывая к особому вниманию, секретарь Жлобинского горкома комсомола — товарищ со звучной, но совсем не комсомольской фамилией Сенаторов. — Задумайтесь, какое высокое слово я сейчас произнес: комсомольцы! Аэто— младшие братья коммунистов! Надежная смена и опора партии! Будущее нашей страны! И потому… — сделал паузу секретарь, строго оглядев класс. — И потому я призываю вас не отмалчиваться, не сидеть с отрешенным видом, не увиливать от ответа на трудный, прямо скажу, вопрос. Вы обязаны честно и открыто высказать свое мнение. Дать оценку прихвостням ползучей контрреволюции! И тем, кто заодно с ними! Именем родной Коммунистической партии я требую…

Аня, сидевшая за первой партой в платье в мелкий синий горошек (модная тогда расцветка), не видела выступающего, не видела ничего вокруг. Предательские слезы, как ни сдерживала их, застили белый свет. Узкие плечики подрагивали.

«За что?! — негодовала она. — Что я кому плохого сделала?»

Только в прошлом году Аня окончила Минский педагогический техникум, или, как называл их альма-матер ее сокурсник, поэт и редактор студенческого рукописного журнала «Крыніца» Володя Гутько, подписывавший свои стихи псевдонимом Дудзіцкі (родился в деревне Дудзічы), — «царскосельский лицей»: почти все учащиеся были выходцами из села, а большинство преподавателей еще при царе Николае учили молодежь уму-разуму. По распределению Аню направили сюда, в Жлобин. В школе-девятилетке учились в основном дети железнодорожников. Учительский коллектив встретил молодую коллегу лучше некуда. Анне доверили классное руководство выпускным 9 «А». На комсомольском собрании избрали секретарем школьной ячейки. Обрадовали вдобавок неожиданной, но весьма приятной информацией: для учителей их школы раз в году (во время отпуска, понятное дело) проезд по железной дороге в любую точку Советского Союза — бесплатный. Значит, сбудется давнишняя, еще с детства, Анина мечта — побывать на юге, поплавать в Черном море. Там, где ждала своего принца Ассоль…

А совсем недавно произошло событие, после которого у Ани и вовсе крылья выросли — она вышла замуж. За свою первую любовь — одноклассника Леню Морякова, и, кстати, друга Володи Гутько-Дудицкого.

Леня, как и обещал, не забыл ее. После окончания университета, едва получив диплом, приехал к ней в Жлобин. И не просто приехал, а с предложением руки и сердца. Говорил Леня волнуясь, немного высокопарно, но изящно, шляхетно — как настоящий «царскоселец». Она не сдержалась — рассмеялась, глядя на него, смущенного и внезапно онемевшего, а потом расплакалась. От счастья. От переполнившего все ее естество ликования. Плакала, а сама сияла: «Боже, и зачем мне столько одной? Пусть и всем-всем будет так же хорошо и легко!»

Здесь же, в Жлобине, сыграли скромную — конечно же, комсомольскую — свадьбу. Скромную, но веселую и красивую. С песнями, плясками, играми и остроумными, в основном шутливо-символическими подарками.

Ближе к вечеру в дом неожиданно нагрянул весь Анин класс. Смеялись, пели хором: «Наш паровоз, вперед лети, в коммуне остановка! Иного нет у нас пути — в руках у нас винтовка!». Смеялись, не задумываясь о смысле слов, которые пели. А пели и танцевали до утра. Казалось, жизнь прекрасна и будущее безоблачно. И на тебе! — удар в спину. Беда, свалившаяся невесть откуда. Вот она, получается, какая остановка! Вот куда бесплатный паровоз летит!

«За что?!» — повторяла, опустив голову и силясь скрыть слезы.

— Прошу, товарищи комсомольцы!

Сенаторов сделал паузу. Замолчал. Не дождавшись, продолжил, и в голосе зазвучали угрожающие нотки:

— Если класс настолько несознателен и не изъявляет желания высказаться, то вопрос, на который мы обязаны сегодня же дать ответ, я поставлю вообще без какого-либо обсуждения. Итак, кто за то, чтобы исключить из комсомола теперь уже бывшего классного руководителя 9 «А», секретаря ячейки и пока еще — уточняю, пока! — учителя географии Анну Тимофеевну Рабкову, прошу поднять руки!

Выпускники по-прежнему молчали.

— В чем дело? — Сенаторов повысил голос, срываясь на крик. — Как прикажете понимать? Разве я невнятно объяснил? Для тех, до кого не дошло, — напоминаю. Ваша учительница Анна Тимофеевна Рабкова стала женою Леонида Дмитриевича Морякова. Может быть, необдуманно, сгоряча? Нет, более чем осознанно! Она все знала и прекрасно понимала, с кем связывает свою судьбу. Кто такой Леонид Моряков? Недослышали? Повторяю! Его отец в прошлом году был осужден как один из главарей религиозной антисоветской организации. А старший брат Валерий — ярый националист, пробравшийся даже в Союз писателей, — арестован месяц назад.

И опять никакой реакции. Руки выпускников словно прилипли к партам.

«Не сдаются ребята, — подумала Аня. — Жалеют меня. А себя под удар подставляют».

Терпение у Сенаторова лопнуло.

— Заговор! Вся школа заразой поражена! — уже вопил он. — Придется на ближайшем бюро горкома поставить вопрос о комсомольской организации школы в целом! Разобраться, что тут у вас происходит.

«Нет, так нельзя! — испугалась не за себя — за учеников — Аня. — Если ребята не проголосуют — возьмутся и за них. Могут и аттестаты не выдать. Как не выдали Косте Вашине и Сергею Астрейко. Костю (имевшего в печати уже довольно известное имя Лукаш Калюга, члена разгромленного литобъединения «Узвышша») подставил плюгавенький, но голосистый и «недремлющий» Айзик Кучер: на общем собрании учащихся назвал его узвышенским лазутчиком и начинающим нацдемом. На Астрейку же донес другой, анонимный сексот. Сергей был большой любитель пошутить. Аббревиатуру СВБ на значке Союза воинствующих безбожников он развернул как Саюз вызвалення Беларусі[1]. Дорого стоила Сергею эта шуточка — его исключили из техникума вместе с Костей. Не выдали им дипломы, хотя оба не один год в газетах и журналах печатались. Впрочем, вскоре их печатать перестали. А ведь за Гулливера, как называли ребята Костю (рост за два метра!), сам Кузьма Черный хлопотал. На общей фотографии выпускников Сергей и Костя есть, а дипломов у них — нет! Нет дипломов! А нет документа — нет человека. Так и с моими выпускниками может случиться. Что же делать? Что?»

Неожиданно Аня вспомнила своего учителя математики Александра Петровича Круталевича. Веселый, неунывающий был человек! Учил их, будущих преподавателей, не только иксам и игрекам, но и кое-чему другому. Не сдаваться, преодолевать трудности, искать выход из любых, даже самых тупиковых ситуаций. «Выход есть всегда!» — говорил Александр Петрович.

Так же неожиданно, само по себе, пришло решение: «Надо уйти, не стеснять ребят. При мне они ни под каким нажимом не проголосуют. Дорогие мальчики и девочки, почти мои ровесники. Бедные, как же вам тяжело! Да, я должна уйти! Немедленно уйти!»

Аня встала и направилась к двери.

---

[1] Союз освобождения Беларуси (бел.)

Секретарь горкома проводил ее с открытым ртом и взвившимися вверх бровями.

Спохватился, заверещал:

— Вот видите! — злорадно показал пальцем на закрывшуюся за Аней дверь. — На воре шапка горит! Теперь вам ясно, кого вы жалели, кого не решались исключить? Да-да, она не стоит того, чтобы из-за нее ставить под угрозу свое будущее. Надеюсь, вы это уяснили? Тогда вернемся к рассматриваемому вопросу…

Но еще битых два часа понадобились Сенаторову, чтобы запугать ребят и вынудить проголосовать за исключение их учительницы из комсомола. Он уже не мог отступить, не добившись своего. Страх подгонял секретаря, заставлял искать все новые доказательства и аргументы, чтобы сломить учеников. Он покрылся испариной от накатившей внезапно мысли: а вдруг не удастся переубедить? Последствия могут быть ужасные. Может и он загреметь вслед за деверем желторотой учительницы!

Этот ужас гнал его в бой. Он бился уже не за торжество революционной справедливости, а — за самого себя, за свое собственное будущее. Бился горячо и страстно. Вспомнил и о фашистской угрозе, и об империалистическом окружении, и об обострении классовой борьбы, и о том, что кадры решают все и, следовательно, они должны быть кристально чистыми.

В конце концов голодные, уставшие и задавленные высокопарными и грозными словами ребята сдались — проголосовали за исключение.

— Вот и молодцы! — облегченно вздохнул секретарь горкома. — Давно бы так! Настоящими комсомольцами себя показали!

«Да уж показали! — опустошенно думал сидевший за второй партой Виталик, любимец Анны Тимофеевны и первый ученик в классе. Это он затеял и организовал “культпоход” на свадьбу классной. — Комсомольцами, но — не людьми!»

Аня выскочила из школы и помчалась домой. Совсем не как учительница, а как незаслуженно, без вины обиженная школьница: бежала не оглядываясь, словно за нею гнались. Утешить ее в маленькой служебной квартире-подменке было некому. Леня уехал в Минск присмотреть за совсем слегшей матерью: не прошли бесследно арест мужа и старшего сына. Захлопнув за собой двери, Аня дала волю слезам — плакала безутешно, как будто и впрямь была маленькой, всеми оставленной школьницей.

Позже, ближе к ночи, она все же заставила себя собраться и взялась за план завтрашнего урока. «Работа — лучший лекарь», —

вспомнила наставление доброго и мудрого Антона Юрьевича Лёсика, читавшего в техникуме курс литературы. Благодарно подумала: учитель навсегда остается со своими учениками. Если он настоящий учитель — как Антон Юрьевич. Хорошо бы стать таким учителем и ей. Значит, надо работать. Работать, учить детей, чего бы это ей ни стоило.

Новая, дополнительная, спущенная сверху только на минувшей неделе тема была обширной, ответственной и требовала уймы времени: экономико-политическое положение Соединенных Штатов Америки. «Врагов нужно знать!»— обосновали свое неожиданное решение товарищи. «Врагов нужно знать! Врагов нужно знать!» — звенело в голове. Но постепенно Аня увлеклась, отошла от обрушившегося на нее безмерного горя и отчаяния. Забылась, потерялась в джек-лондоновской суровой Аляске, в фантастических нью-йоркских небоскребах, в бескрайнем ковбойском Техасе. Уже далеко за полночь перечитала «Дары волхвов» О'Генри и совсем успокоилась: «Мир не кончается на Жлобинском горкоме комсомола, — сказала едва ли не вслух. — Да и американцы никакие не враги нам и всему прогрессивному человечеству».

Но утром, собираясь в школу и вспомнив, что она уже бывший классный руководитель, бывший секретарь ячейки, а вскоре станет и бывшей учительницей с волчьим билетом, Аня снова поникла. Ее вновь охватили отчаяние и страх: «Неужели не смогу работать? Неужели запретят учить детей? Как же тогда жить? Что будет с мужем? Леню тоже уволят с работы и арестуют, как арестовали отца и брата?» Вопросы неотвязно лезли в голову. Аня не находила себе места. Помог — Леня. Подумав о нем, она устыдилась своей слабости, взяла себя в руки, быстренько собралась и направилась на работу.

До конца своих дней Аня не забудет то солнечное майское утро! Не забудет, как шла в школу — с ощущением, что идет на свой первый урок. Не забудет, как входила в класс и как стояла у доски, словно несчастная, беспомощная практикантка. Не забудет, как горели у нее щеки, как крошился и выскальзывал из пальцев мел, пропадал голос, сбивалась мысль. О, как ей хотелось прыгнуть в открытое в двух шагах от нее окно!

Написанный накануне план урока лежал перед Аней, но она словно забыла о нем. Не стала никого вызывать, чтобы закрепить пройденное на прошлом уроке. Сразу приступила к новой теме. Рассказывала обстоятельно, даже казалось — увлеченно, а взгляд был обращен туда, в спасительное окно.

Ребята слушали молча, но вряд ли понимали, что она говорила. Они сидели, как накануне на собрании, — опустив головы. Им было стыдно. До омерзения стыдно. Поднять глаза на Анну Тимофеевну никто из них не решался.

В ту пятницу, 29 мая 1935 года, как и по всей стране, в Жлобинской железнодорожной школе заканчивался учебный год. Вскоре для выпускников прозвучит последний звонок. Но это не радовало. Ему, 9 «А», не хватило двух дней, чтобы окончить школу без гадкого, мучительного чувства собственного предательства.

Аня окинула взглядом класс. Ей было жаль этих девушек и юношей. Ей хотелось думать, что содеянное ими — не предательство, а слабость. А ведь и сама она — слабое существо: манило окно. Легко сдаться, сломаться, уйти. Труднее — бороться...

— Надо бороться! — не заметила, как сказала не про себя — громко.

— И будем бороться! — поддержал ее Виталик.

Один из тридцати шести выпускников 9 «А».

Один.

«Ласточка»

Платон очнулся в камере. Болела и кружилась голова. Хотел приподняться, но не смог. Боль молнией пронзила тело. Застонал, опустил голову на пол. Смотрел на серую голую стену, силился вспомнить, что же произошло за эти последние несколько часов.

Итак, он снова в своей двадцать четвертой. Лежит пластом. Видно, били и после того, как потерял сознание. Следователи рисковали — вожак контрреволюционеров мог захлебнуться собственной кровью. «Наверное, и захлебывался», — Платон перевел взгляд на руку. Пропитанный кровью обшлаг рубашки еще не высох— он с содроганием уловил приторный запах, которого так боялся в детстве: от увиденной капли крови мог упасть в обморок. А сейчас от ее запаха очнулся, ожил. Ожил от переполнявшей все его истерзанное, искалеченное тело боли.

Платон лежал и смотрел на опостылевшие серо-грязные стены. Там, за стенами, — воля. Солнце и простор. А здесь — смрад и серая мгла. А главное — неотбитая, непогашенная его память. Наделенная к тому же абсолютно ненужным свойством самовоспроизводства, что ли. Она не просто не дает забыться, вновь и вновь возвращая его в ад прошлого, откуда он, казалось бы, наконец-то ушел. Она куда более коварна. Память действует вопреки его желанию. Он не хочет, и все же пытается вспомнить, что случилось с ним вчера, а может быть — все еще сегодня, в эту долгую осеннюю ночь.

Следователи старались. Видимо, сроки поджимали. Может, и нервы сдали. Подследственный по-прежнему молчал, и для них забрезжил реальный шанс самим попасть в камеры.

Когда стажер, перемигнувшись со своим учителем Быховским, сзади ударил Платона ногой по печени, тот устоял, но ощущение, будто из тела вырвали кусок мяса, сохранялось до сих пор. Приободренный похвалой Быховского: «Молодец!», стажер добавил Платону размашистым справа. Попал, куда метил: нос Платона гулко хрустнул. Переносица была перебита, и ненавистный с детства запах крови затуманил сознание.

Тогда он отключился в первый раз.

Где-то уже не здесь Платон осознал, как хорошо ему и покойно. Но уйти в безмолвие ему не дали. Таз с водой стоял у окна не случайно. Убивать приговоренного не собирались. Тем более теперь. Они оживили Платона и, оттащив в угол, прислонили к стене.

— Давай драматурга. Пусть разок сам поучаствует в представлении. Зрителем будет этот герой, а мы — скромно, артистами, — и следователь со стажером громко рассмеялись.

Когда ввели первого Народного, Платон его сразу не узнал. Не живой классик, а живой труп. На избитом до черноты лице сверкали налитые кровью от лопнувших сосудов глаза. Некогда пышная темно-русая шевелюра превратилась в серую охапку соломы. Народный смотрел и не видел Платона. Видел ли он вообще что-нибудь? Кажется, больше всего его занимало полуоткрытое окно за спиной следователя. Платон понял, о чем думает драматург.

— Садись, Иосифович, отдохни, — словно прочитав мысли старика, по-дружески начал Быховский.

Стажер хотел было снова проявить себя, помочь деду сесть — повторить свой отработанный, как он считал, удар, но следователь взглядом остановил его.

«Как собака, — подумал Платон, — без слов понимает. Хорошую себе смену Быховский вырастил».

— Так вот, — с той же издевательской доброжелательностью продолжал следователь, — твоя надежда, твое завтра, твой красавчик Платон красавчиком уже не будет. Да и справедливо ли это? Посмотри на меня. Всю жизнь изо дня в день служу борьбе за святое дело — и на тебе: нос картошкой, хрен гармошкой, уши торчком. Женщины даже цветы боятся от меня принимать. Нечестно как-то в небесах распределили. Теперь все будет по-другому, по-честному. Твоему красавчику, думаю, девки перестанут надоедать. Глядишь, с голодухи и нас, сирых, заметят… Максимыч, — обратился Быховский к ученику также по отчеству, — заснул, что ли? Пригласи батяню присесть.

Стажер сообразил, чего от него хотят, но переусердствовал: Народный пролетел мимо табуретки и упал грудью на стол Быховского.

— Ай, Максимыч, — укоризненно сказал тот,— молодой, а с нервами не все в порядке.— И, водворяя старика на табуретку, уже в адрес Платона добавил: — А ты, молчун, смотри и запоминай, как из-за тебя — только из-за тебя! — страдает твой бог, твой учитель!

Снова глазами Быховский подал знак стажеру — тот мигом вырвал табуретку из-под Народного артиста и, прежде чем старик грохнулся на пол, успел ткнуть его ногой в спину. Заведенный успехами Максимыча, бросился на Народного и следователь. Но вдруг наткнулся взглядом на цепенеющего в углу Платона и, словно опомнившись, оттолкнул вошедшего в раж стажера:

— Зови Игната с хлопцами. Может, у молчуна после «ласточки» язык развяжется.

Через несколько минут в кабинет вбежало трое.

— Этого, что в углу залег? — спросил первый из них, Игнат.

Следователь отрицательно мотнул головой.

— Старика? — показал Игнат пальцем. — Может кончиться. — Но наткнулся на жесткий взгляд следователя и кивнул: — Сделаем!

Один из специалистов по «ласточке» ударил старика кулаком в живот, а второй, ухватив за волосы, потянул его голову к ногам. Послышался хруст.

Перед глазами Платона поплыл туман. Он еще видел, как на согнутое подковой тело водрузили стул и стажер, довольный тем, что сообразил, куда надо сесть, заулыбался. Старик хрипел. Когда следователь шагнул к нему и занес для удара ногу, Платон прошептал:

— Звери!

На удивление, шепот его услышали.

Занесенная нога резко опустилась. Еще через мгновение следователь очутился возле Платона и с ходу замолотил по нему ногами — то правой, то левой. Бил и хрипел:

— Мало тебе было, мало? Ну так теперь хватит! Получи, нацдемовское отродье, получи!

Остановился, лишь увидев, что подследственный на удары не реагирует — даже не вздрагивает. Быховский сплюнул, перевел дух и зло рыкнул на специалистов по «ласточке»:

— Чего вылупились? Ломайте гада!

И те сломали. Сломали Народному позвоночник. Но Платон уже этого не видел.

Он лежал неподвижно. Он снова уходил туда, где много света и солнца. «Слава Богу, — выдохнул чуть слышно. — Конец. Теперь — на волю, к своим».

Платон не знал, что это еще был не конец. Конец наступит в полночь, когда его поволокут на расстрел. Последнее, что он услышит в своей тридцатичетырехлетней жизни, будет ворчание палача, бросившего одному из надзирателей:

— Ты же плел, что он к ночи подохнет! Ну и сука!

Брошенные в камеру глубокой ночью двое из последней партии арестованных «контрреволюционеров», как и многие новички, считали, что оказались здесь случайно. Написанное ими в соавторстве стихотворение «Первый снег» недавно напечатала одна из центральных газет. Это было признание! И ребята не унывали: днем

все выяснится, станет на свои места и их выпустят. Они подбадривали себя анекдотами, шутили. Ждали утра.

Но к ночи закончились и анекдоты, и шуточки. Душу заполонила тоска, а за ней и хандра.

Наконец стало светать. Постепенно перед ними на стене проступали, проявлялись начертанные кровью слова.

«Люди, простите, если я виноват перед вами. История еще скажет правду о нас. Платон Головач».

Двое новичков не верили своим глазам. Глазам не верили, а душой осознавали: ничего не выяснится, не станет на свои места, их не выпустят. Никогда. «Первый снег» для них будет последним.

Очнулись от грохота тяжелой железной двери.

— На выход! — скомандовал конвоир.

Двое молодых поэтов уходили не на допрос— в вечность.

Вечная память безвинно убиенным.

Вечное проклятие их палачам.

Зеленые глаза

Хрипатый заприметил ее сразу. Пышные черные ухоженные волосы даже после восьмидневной езды-пытки словно говорили: не было ни этапа, ни вагона-телятника, ни испытания на способность выживания без еды. Усталость выдавали только большие зеленые глаза. Но и усталые, они привораживали, гипнотизировали, ненавидели. Поймав их взгляд на себе, он почувствовал, как по спине пробежал холодок. «Посмотрела, словно змея перед броском. Презирает». У Хрипатого перехватило дыхание: презрение и ненависть в такой концентрации его только возбуждали. «От презрения дольше путь к наслаждению, но слаще финал», — процитировал себя. Еще он возбуждался, когда видел кровь, но это — потом…

Всю ночь начальник Решотинского лагпункта НКВД Красноярского края тридцативосьмилетний Измаил Викторович Хряпин, или, как его звали между собой заключенные, Хрипатый, не мог уснуть. Лишь под утро обессиленный длительным воздействием алкоголя организм сдался.

Зеленоглазая была далеко, но услышав его «Подойди!», чуть помедлив, послушалась, пошла к нему. Еще немного… и она уже рядом. Он смотрел на ее пышные волосы, пылающие глаза, слегка подрагивающие губы. Обнял. Вдохнул аромат молодого тела. Прошептал:

— Не бойся, раздевайся, все хорошо, все будет хорошо, все будет.

Зеленые глаза прищурились, и в них он прочел ту же ненависть, что и тогда, в первый раз. Не выдержал, взорвался:

— Снимай шмотье, сте-р-р-ва, — растягивал слова. — Быс-стро!

Она отвела глаза, расстегнула верхнюю пуговицу кофты. Молчала.

«Вот так-то, — усмехнулся Хрипатый. — Что ни говори, опыт. Опыт, как и талант, не пропьешь. Только талант дается от рождения, а для опыта нужно попотеть, понапрягаться. — За три года службы здесь ему немало пришлось потеть и напрягаться, прежде чем научился брать свое сразу. — Вот и эта грудастая сейчас заработает…»

Она чуть отступила, сняла кофту. Почувствовала его ощупывающий сквозь лифчик взгляд. Повернулась спиной:

— Расстегни.

Медленно, пьянея от прилива чувств, Хрипатый шагнул к зеленоглазой.

Неожиданно заключенная размахнулась и бросила в него кофту. Кофта оказалась в липкой, как клей, слизи. Это была кожа! Через силу отодрав ее от лица, он увидел перед собой огромную черную змею. Голова змеи-гадюки двигалась. Отдалялась. «Слава Богу!» — пронеслось у Хрипатого. Но змея замерла, потом повернула обратно. Забегало жало.

— Ш-ш-ш-ш… — услышал начлагеря парализующий звук. Открыл в ужасе рот.

Змея прыгнула. Впилась в его губы. Вырвала кусок нижней. Отпрянула. Выплюнула. Забрызганная кровью, прошипела:

— Еще поцелуйчик? Хочеш-шь? Хо-очешь!

Проснулся Хрипатый от собственного крика. Первым, как всегда, увидел Феликса.

— Измаил Викторович, — спросил тот спокойно, будто ничего не слышал, — чаек нести?

— Придурок, тупица! Каждый раз одно и то же! Плохо мне, идиот…

Начлагеря не успел договорить, как Феликс исчез за дверью.

«Не жилец», — подумал о себе Хрипатый. Нехотя поднялся, подошел к ведру с водой. Зачерпнул в ладони — вода леденила. Растер лицо. Прохрипел:

— У-у-х! Чтоб тебя разорвало!

Холод вернул к жизни. Он вспомнил зеленые глаза — человеческие глаза, сверкающие на огромной змеиной голове. Приснится же такое!

Снова бесшумно появился Феликс. Он стоял с подносом на пороге и, не мигая, как преданный пес, смотрел на хозяина.

Хрипатый присел за стоявший у окна стол. Махнул:

— Давай!

Слуга подлетел, подал завтрак: хлеб, сало, капусту, бутылку водки. Налил.

Осушив стакан, начлагеря быстро пришел в себя:

— Ну, что там, рассказывай.

— Новеньких распределили… — начал было Феликс.

— Да я не об этом, — перебил его Хрипатый.

— А-а… — соображал слуга. Понял, чего от него хотят, добавил:
— Чернявую на кухню оформил. Чтоб не застудила свои прелести. Втайге сейчас, сами знаете…

— Ладно-ладно, свободен, — успокоился начлагеря. — Иди, дай поесть.

Когда Феликс вышел, Хрипатый налил еще, хукнул, выпил, посмотрел на еду, но закусывать не стал: после такого сна кусок в горло не лез. Перед глазами стояла чернявая. Решил: «Надо навестить», — и, опрокинув третий стакан, снял с крючка китель.

Окунувшись в обжигающе-морозное утро, начлагеря прошел вахту и оказался перед плацем, на котором тренировал некоторых «особо умных». Позавчера один такой грамотей, западник, Язепом звали, тут и загнулся.

— Ублюдок! — вспомнив, выругался Хрипатый. — Упрямая тварь попалась! Чуть сам из-за него не околел: битый час на такой холодине.

Проклиная грамотея, начлагеря пересек плац, обошел столовую и оказался перед дверью на кухню. Войдя в подсобку, наткнулся на зеленоглазую, которая прямо у двери чистила днище огромной кастрюли. Краем глаза она заметила начлага, но головы не подняла, продолжала выскребать пригарки. Хрипатый не привык оставаться незамеченным — отфутболил кастрюлю, завопил:

— Глазенки подними! — Не увидев глазенок и не услышав ответа, добавил: — Встать, стерва!

Глазастая не вытянулась, как полагалось, в струнку, а медленно поднялась и начала по уставу:

— Заключенная…

— Отставить! — перебил Хрипатый, видя обычную реакцию на свои слова. — Работай, не суетись. — Но неожиданно шагнул к ней, схватил за подбородок, прошипел: — В девять — ко мне. Ясно? В девять. Девять ноль пять буду считать опозданием. Ты ведь знаешь, что опоздание у нас — как неповиновение, как шаг влево или вправо. Знаешь? Хорошо, работай. И помни — в девять.

Вчера, когда зеленоглазой рассказали о смерти Язепа, она поняла: рухнула последняя надежда! Надежда быть рядом с мужем. Поняла и — перестала осмысленно воспринимать происходящее. Боязливо склоняющие головы зечки и зеки, злые, орущие вертухаи — все было, как сон. И лишь услышав хрип начлагеря: «Встать, стерва!» — очнулась. Этим мерзким словом ее никто никогда не называл. Даже в «американке». Теперь все ее мысли были о Хрипатом: она отомстит. И за Язепа, и за себя. Она убьет его! Как? Пока не знает, но убьет. Обязана убить!

Вернувшись из столовой в барак, в разговоре зечек уловила игривое замечание, что начлагеря вечером трезвым не бывает, и неожиданно успокоилась: может быть, именно это ей и поможет. Она не упустит такой шанс. Теперь она, кажется, знает, что делать.

Вертухай привел зеленоглазую аккурат в девять. Встретивший их в сенях главный холуй начлагеря Феликс, ехидно улыбаясь, дохнул на нее убийственной смесью махорки и самогона:

— Сильно не усердствуй, для меня что-нибудь оставь. Я ведь… — приглушил голос, — не начальник — рассчитаюсь.

Закрыв за нею дверь, он щелкнул пальцами и, обращаясь к стрелку, добавил:

— Глазищи-то, а? Так бы и вырезал на память!

«Да-а, — почесал тот затылок, — за тобой станет».

Когда зеленоглазая вошла, начлагеря лежал на кровати. «Храпит, боров», — обрадовалась. Волнение схлынуло, и она почти с улыбкой повторила про себя услышанную в лагере присказку: «Любит буква “ха” храпящего, хрипатого, похожего на хряка, начхрена Хряпина. Ничего, — сказала себе, — сегодня ты храпишь в последний раз».

— Скоты! — пробормотал во сне начлагеря и затих.

Зеленоглазая прислушалась. Шаги? Кажется, сюда идут! Бросилась в кровать, прижалась к Хрипатому.

И вовремя. Феликс вернулся проверить, как дела у хозяина. Достанется ли что-нибудь на его долю? Осторожно приоткрыв дверь, увидел идиллическую картину: парочка словно слилась в объятиях. Пробурчал:

— Да, этот оставит. Ладно, пройдусь по баракам, какую из новеньких вытащу.

Раз-другой потрогав Хрипатого за плечо и убедившись, что тот в глубокой пьяной коме, зеленоглазая в мыслях поблагодарила Бога: первая часть задачи разрешалась сама собой. Осторожно, стараясь не тревожить, начала стаскивать с него гимнастерку.

— С женщиной лучше иметь дело раздетым,— повторяла на случай, если тот очнется.

Начлагеря продолжал храпеть. Зеленоглазая вытянула из галифе ремень и связала ему руки. Прошлась взглядом по стенам, нашла бельевую, что ли, веревку и обмотала ею ноги. Подумала, что для такого бугая этого будет мало, и привязала его еще и к кровати.

Хрипатый застонал, очнулся. Дождавшись его недоуменного «Где-э?», зеленоглазая заткнула ему рот его же рукавицей. Начлагеря, не понимая, что происходит, выпучил глаза. С помощью кружки студеной воды из ведра привела его в чувство.

Он сразу усек: связан. Рванулся, но, словно придавленный чем-то тяжелым, едва оторвал голову от подушек. Снова напрягся, силясь разорвать путы, замычал.

«Стерва! Связала так, что ни рукой, ни ногой... Тихо, тихо, спокойно, — трезвел Хрипатый. — Вырваться! Главное — вырваться, спастись. Задобрить суку. Просить, умолять, обещать... Только бы вырваться! — Он крутил головой, стонал.— Где же Феликс? Где этот урод? А стерве я лоханку выверну...»

— Слушай, нелюдь! — пальцы зеленоглазой оплели горло Хрипатого. — Когда, изнасилованная в «американке», я почувствовала, что ношу ребенка, то поклялась: убью себя. Убью. Но непременно захвачу с собой такую, как ты, гадину. Когда же появился шанс увидеть мужа, я приказала себе: ждать! Терпеть и ждать. Любой ценой дождаться встречи. Я опоздала всего на день...

Хрипатый увидел у нее в руке нож. «Феликс, недоносок, не убрал», — пронеслось в голове. Он с ужасом понял, что задумала глазастая. Снова забился, захрипел, изо рта, из-под рукавицы, засочилась пена, но путы держали, сковав намертво.

Она оттянула его отросток и полоснула ножом.

Рукавица, как пыж из ружья, вылетела из перекосившегося от боли рта, и нечеловеческий вой оглушил зеленоглазую. Окровавленными руками она схватила Хрипатого за горло. Не для того, чтобы оборвать этот вой или задушить ублюдка, — хотела видеть его глаза.

— Теперь, нелюдь, ты уже никому ничего не прикажешь. Жил скотиной, скотиной и подохнешь, — прошептала, не замечая, что Хрипатый уже не хрипит.

В коридоре послышались шаги, голоса. Кто-то приближался. «Не спится шакалу, — узнала она голос главного холуя. — И эта гнида зарилась на меня: “Я — не он, я рассчитаюсь”». Подбежала к двери, притихла: «Не ты — я рассчитаюсь!» В комнату ввалился Феликс, и она бросилась на него. Нож едва коснулся откормленной шеи — вбежавший следом вертухай отшвырнул ее в сторону. Налетев на угол стола, зеленоглазая потеряла сознание.

Она знала, на что шла, и теперь, когда ее вели к лагерной яме-могильнику, была спокойна: ведь она идет к нему, к своему, как у них говорят, человеку — к мужу. Как две маленькие далекие звездочки, светили ей в ночи его родные глаза.

«Нас больше, чем нелюдей, — думала она. — И если за жизнь каждого из нас заплатит своей жизнью один из выродков, то рано или поздно останемся только мы. Нас будет мало. Может быть, очень мало, но — мир будет другим».

Следственная бригада, направленная на станцию Решоты для выяснения обстоятельств убийства начальника лагерного пункта, к месту назначения прибыла только через неделю: пурга задержала.

Сидевший за столом Хрипатого старший следователь оперчекистского отдела смотрел через окно на проволочное ограждение, постукивал пальцами по личному делу зечки, убившей начлагеря, и думал: а ведь она добилась своего — осталась рядом с мужем навсегда.

An Old Man

Он понял: такой бег ему не под силу. Знать бы заранее, что стрелки так упорно будут преследовать, — возможно, и не рискнул бы сражаться за свободу, не решился бы на побег. А теперь…

Теперь бесчувственное ко всему тело летело вперед навстречу ярким и колючим солнечным лучам. Они разбивались о ветви деревьев, превращались в звезды. Звезды ослепляли. День оборачивался в ночь, ночь — в ад. Сердце вырывалось из груди, бешеное дыхание сдавливало горло, ноги наливались свинцом. Он стал зверем. Загнанным зверем, которого оставалось добить.

«Такой бег не для меня», — снова пронеслось в сознании. Но тело, выдерживая нечеловеческие нагрузки, продолжало лететь.

«Это помогает Бог! — решил беглец, хотя уже ни во что не верил. — Бог — есть! Иначе почему, вконец обессиленный, я бегу? Откуда силы?»

Беглец услышал отдаленные высокие звуки. Испугался: что это? Может, померещилось? Нет, это — лай! По его следу пустили собак! Что ж, пусть они его разорвут. Теперь это не самый худший для него вариант. Хотя собакам вряд ли дадут его загрызть. Стрелки захотят продолжить охоту, поиграться, натешиться. Они не привыкли бегать, но уж если кто-то их заставлял, после сильно жалел об этом. Ребята долго отводили душу. Они умели убивать медленно, растягивая удовольствие.

Вспомнилось, как живыми втаптывали в землю троих его товарищей. Тогда он должен был стать четвертым — когда они клялись отомстить, их было четверо. Нет, об этом лучше не думать.

И тело продолжало лететь. Ноги — свинец, сердце — колокол, дыхание — огонь, глаза — звезды, позади — смерть. И тело продолжало лететь.

Вспомнилось, как его шестнадцатилетний «крестник», над которым издевался лагерный заводила-уркаган, взглядом умолял: дяденька, помогите. И он бросился на них — заводилу и его шакалов. Возможно, это была бы последняя для него битва. Но неожиданно вошел командир и пристрелил махавшего «пикой» бандита. Получил свое и заступник: месяц гнил в камере без нар и параши. Парашей была вся эта вонючая камера-карцер. Не получал и 300 граммов того, что называли здесь хлебом. И все же выжил: мальчишка каким-то чудом передал ему сухари. Он выжил и не сделался иудой — остался человеком. А человек всегда стремится к свободе. Поэтому он теперь и бежит. А смерть ему не страшна — она для него та же свобода.

Лай затихал.

«Я не мог далеко оторваться, — подумал беглец. — Может, подводит слух?» Он и раньше замечал, что после того, как боксер — так урки называли начлагеря — кулаками отогрел ему обмороженные уши, время от времени переставал слышать.

Снова лай! Нет, он не оглох. Собаки — рядом! Он должен бежать!

И человек устремился наперегонки со смертью. Он хотел жить. Хотел вырваться на свободу.

Вдруг оборвалось дыхание. Что это? Он падает? Летит вниз? Да, в пропасть! Он сорвался в пропасть!

«Конец!» — вспыхнуло сознание, пронизывая летящее вразнос тело, и человек ухнул в небытие.

А слух-таки беглеца не подвел — собаки, выбежав к обрыву, вниз не прыгнули. Ни прыгать, ни бегать-догонять они, на его счастье, не привыкли. Да их этому и не учили. Зачем? Собаки были лагерные, а из их лагпункта еще никто не убегал. Бежать было некуда — кругом тайга. Сейчас, усталые и злые, собаки хотели домой, в вольер.

Сознание постепенно возвращалось к беглецу. Он открыл глаза. Над ним было редкое для здешних мест чистое небо. Подумал: это сон, он дома, с мамой. Пришел отец с работы. Мама накрывает на стол. Берет на руки самого маленького — его — и кормит с ложечки. Он нервничает, ему хочется быть большим. Он плачет, и мать успокаивает, гладит по голове. Говорит отцу: «Этот у нас самый неугомонный».

Да, неугомонный. Неугомонный и нетерпеливый. И еще умеющий заставить организм делать то, что было, казалось, не в его возможностях. Вот и теперь один из всего лагеря решился на побег. Один за всю его историю. Возможно, потому и удалось вырваться из клетки. Хотя — нет, он еще не вырвался, он только пытается.

Перед беглецом снова возникла мама. «Аможет быть, я никогда и никуда не уезжал?» — задал себе вопрос.

Его вновь окутал холод, заледенела спина. «Нет, это не дом, — спохватился, — это холодная чужая земля. Земля, которая никогда не бывает теплой. Чужая!»

Подтянул под себя колени, встал. Шатало. Почувствовал боль в плече. Осторожно потрогал рану: кровь вроде засохла, не сочится. Повезло, кажется, ничего не сломал.

Пропасть, в которую он упал, оказалась глубоким котлованом. Когда и для чего его вырыли, почему бросили — беглец не знал. Знал другое: где-то, ближе или дальше от этой громадной ямы, есть много таких и поменьше, где лежат сотни, тысячи невинно убиенных, а

креста над ними — ни одного, и никогда не будет. Миллионы загнанных в землю. Миллионы, которых больше нет.

«Темнеет. Пора выбираться, — решил. — Должен же где-то быть выход наверх».

Прислушался. Тихо. Стрелки не побежали за собаками до обрыва, иначе спустились бы сюда и нашли его: они — не собаки; они те, кто спускает собак.

Когда беглец выбрался из котлована, уже смеркалось, но небо оставалось чистым, и он мог ориентироваться по звездам. «Да, Бог есть»,— снова повторил и шагнул в ночь.

Шесть суток человек пробирался сквозь тайгу. Шесть нескончаемо длинных суток. Судя по всему, он уже должен был выйти к деревушке, мимо которой их когда-то гнали. Здесь, у последнего дома, молодая красавица бросила ему узелок с сушеными ягодами и хлебом. Только на эту мельком увиденную девушку беглец теперь и надеялся. Тогда, поймав узелок, услышал заставившее вздрогнуть: «Отец!» Это было как удар прикладом: в двадцать восемь его, словно старика, назвали отцом.

Наверное, потому и стрелки бежали не в полную силу. Думали — старик спечется сам. Астарику — двадцать восемь. И он не спекся, он ушел!

Где же та деревушка? Неужели сбился с пути? Если сбился — смерть!

И он шел. Шел упрямо и тупо. Знал: главное— не останавливаться, иначе голод и жажда сделают его больным, невменяемым. А это тоже — смерть.

И беглец двигался дальше. Двигался, пока не перестал понимать, видеть, чувствовать.

И тогда он упал, забился в истерике, захохотал, закричал, завыл. Разум не выдержал напряжения. Человек переставал быть человеком.

Его разбудили жажда и запах воды. Или это ему почудилось? Он не пил два дня. Встал и продолжил путь, изо всех сил заставляя себя верить: этот запах, это дыхание свежести — не наваждение. Где-то недалеко вода, большая вода. Где-то недалеко свобода! Он вырвется из клетки, непременно вырвется.

Вскоре он увидел нечто сказочное, невероятное и в который раз повторил: «Бог есть!». Перед ним расстилался океан. «Спал в нескольких сотнях шагов от него и не слышал, — удивился беглец. — И впрямь со слухом неладно. Или этот океан не зря назвали Тихим?»

Он никогда не видел океана. Великолепие, открывшееся взору, завораживало. Бесконечная, сверкающая морская гладь успокаивала,

порождала надежду. Человек стоял и смотрел, почти не дышал. Был счастлив: он умрет не в клетке, в той большой клетке, где прошла вся его жизнь. Он умрет хотя и на чужой земле, но без помощи палачей — свободным человеком, не рабом. Он умрет — не рабом! Умрет с мыслью о спасенном мальчишке, о матери, о своей любимой и недосягаемо далекой Родине. Чего еще желать приговоренному к смерти?

«Господи, что это? Что там вдали? Корабль? Мираж?»

Как мог напрягал глаза, но далекий силуэт неумолимо расплывался — организм терял последние силы, сознание снова покидало его.

Вдоль берега медленно и бесшумно шел небольшой военный катер. Вот уже слышны голоса, различимы люди. Двое фотографировали побережье. Один из них сменил пленку и вновь навел аппарат на берег. В объектив попало скрюченное, недвижимое тело.

Навел резкость. Словно ожегшись, человек на катере уронил фотоаппарат на грудь и закричал:

— Captain! There is somebody! What? No, any frontier-guards. An old man.[1]

[1] Капитан! Там кто-то есть! Что? Нет, не пограничники. Какой-то старик (англ.).

И он их узнал

— Это в последний раз! В последний! Я туда больше не ходок! — убеждал себя палач, стоя в исподнем на коленях перед иконой. И оправдывался: — Кто я?! Никто! Все решают они! Они и есть звери! Я лишь исполнитель. Слуга! Тень! Все они, они… Какой бесконечно длинной была эта ночь! Их приводили и приводили. Казалось, этому не будет конца! Ия стрелял! А что было делать?! Не я — найдутся другие. Но тогда и меня… Так же — в затылок! А я хочу жить! Ядолжен жить! У меня дети, их дети. Расстрелянных.

В двадцать девятом, когда это случилось в первый раз, он решил разыскивать их детей и по возможности усыновлять. Слава, Лена, Светлана, Зина… Они не знают, что он — убийца. Любят его, ждут с надеждой: «Папа всегда что-нибудь вкусненькое с работы принесет». Если бы дети знали, что это вкусненькое предназначалось их отцам. «Не волнуйтесь, передадим», — успокаивали из маленького окошка приносящих передачи. А про себя добавляли: «Они уже свое отобедали».

Эта октябрьская ночь тридцать седьмого его доконала. Такого еще не было! Девять человек— девять поэтов! — и всех убить должен был он!

С ними следователи, конечно же, поработали, через «американский конвейер» пропустили. Это когда уставший избивать арестованного один энкаведист сменялся другим, потом третьим, четвертым.

И поэты подписывали всё, что от них требовали, признавались: да, они враги народа. Молчаливого народа, который своим упорным молчанием и отрекся от них, своих сыновей. В истории «американки» не было неподписавших. Впервый, десятый или сотый день, в сознании или без него, но то, о чем здесь «просили», подследственный рано или поздно подписывал. Те, которые не могли теперь идти, держались дольше других.

Для поэтов уже не существовало ни рано, ни поздно. Впереди была смерть, и палач думал, что все будет, как всегда. Начнут требовать справедливости, взывать к Богу, кричать о своей невиновности. Но поэты умирали молча. И это было ужасно. Они молчали и смотрели. Смотрели сквозь него, как слепые. Как будто перед ними была пустота. Казалось, они уже покинули этот мир. Пусть бы кричали, сопротивлялись, пусть бы просились, плакали — было бы легче, было бы как обычно. Но они молчали. И палач начал злиться. Занервничал. Так можно и промахнуться. Промахнешься —

стреляй снова, трать лишний патрон. А это разбазаривание, вредительство. Могут списать. А списывают их такие же, как они…

И та ночь палача доконала. Случилось то, чего раньше с ним никогда не было: нервы дали сбой.

На третьем приговоренном у него дрогнула рука; поэт после выстрела упал, но не затих — задыхался, глядел, ненавидел.

На седьмом подвел пистолет — осечка.

Перед девятым палач тщетно массировал онемевший палец, тот самый, который жмет на курок, — его как отрезало. Рискнул стрелять левой.

«Слава Богу, попал! О, ужас! Что говорю?! То есть, слава Богу, что убил?! Господи, помилуй!»— закрыл он лицо руками.

Была глубокая ночь, и человек в исподнем не заметил, как его шепот постепенно набирал силу и в конце концов перешел почти в крик:

— Я должен жить! А чтобы жить, я должен убивать! В этой стране есть только два варианта: либо ты убиваешь, либо убивают тебя! И если ты не убиваешь физически, то убиваешь своим рабским молчанием, рабским желанием выжить! Раб здесь и я. Ведь я убиваю из страха быть убитым. Страна убийц-рабов, их жертв и молчаливого народа!

Спиной ощутил холодок. «На меня смотрят»!— подсказало сознание. Обернулся. Заспанными глазками за ним наблюдала самая маленькая — Зина.

Она обмочилась и на мокром не могла уснуть. Другого места в детской не было, и девочка тихонько прошла в папину комнату. Папы ночью обычно не бывает. Папа приходит под утро.

Малышка вошла и удивленно смотрела на него. Не плакала.

Он не понимал, почему усыновленные им дети расстрелянных никогда не плачут. Собственных детей у него не было, но он хорошо помнил, как плакал сам. Лет до десяти, по поводу и без повода, не давал матери покоя. Эти же дети, даже сильно ударившись или обжегшись, ни разу не обронили слезы, как будто не чувствовали боли. Неживые какие-то…

— Боже, о чем я? Уже в детях мертвецы мерещатся. Всё! Спишут! Спишут и шлепнут! Слишком много знаю, слишком много нагрешил. Слишком… Хотя… — пытался успокоить себя палач, — хотя Бог меня пока миловал. Может, не зря молился все это время. Молился, просил, объяснял. Может, не зря…

Девочка легла в отцовскую постель и под уже едва слышный его шепот забылась.

А старших, тринадцатилетнюю Лену и младшего на год Славу, разбудил его вопль: «Я должен убивать!»

Проснувшись, они уже не могли сомкнуть глаз. Онемев от ужаса, лежали и слушали исповедь убийцы.

Как обычно, палач встал около двенадцати, отоспав свою норму — шесть часов. Он был доволен. Отдохнул и теперь снова сможет работать. Главное — руки не дрожали, и это радовало: значит, не спишут, старый конь еще сгодится. Палач уже напрочь забыл о своих ночных покаяниях, как, впрочем, и всякий раз, когда удавалось хорошо отоспаться.

По квартире шныряли дети, и он, как заботливый отец, посмотрел, что осталось из еды. Эк их, все подмели! Но ничего, он принесет. Вечером, перед ночной сменой...

Он правильно отметил: дети шныряли по квартире. Не бегали, не носились, а именно шныряли. Особенно — старшие. Шныряли — в поисках чего? Он подумал — как обычно, еды. На этот раз — ошибся. Детей, в первую очередь Лену и Славу, озабоченно сновать по квартире заставляло вовсе не чувство голода. Этой ночью к ним пришло совсем другое чувство — мести. Пусть он только уйдет! Они сразу же начнут готовиться к суду и казни. Можно было бы — да и следовало! — обойтись без суда, как без суда исчезли их родители, но прежде надо узнать фамилии. Свои настоящие фамилии! А уж потом — казнить. Казнить — и точка! Помилованию он не подлежит.

Весь день на пустыре Лена отрабатывала удар— лупила по травяному ковру увесистой палкой. И вечером, когда «отец» принес вкусненькое и снова ушел на работу, возобновила тренировку. Отсчитав полтораста ударов, успокоилась: хватит, а то, чего доброго, переберет меру и невзначай убьет сразу.

Палач вернулся, как обычно, перед рассветом. Впотьмах поел, разделся, достал спрятанную под кроватью икону, вытер ее, приставил к стене. Вздохнув, упал на колени.

Этого момента и ждали Лена со Славой. Ждали с волнением — боялись уснуть. Но боялись напрасно: сна не было ни в одном глазу — слишком сильно потрясло их услышанное минувшей ночью. Молящийся перед иконой стоял перед глазами. И они ждали. Не терпелось узнать, кто их родители. И главное — остановить убийцу. Они остановят его, и это будет их победа. Победа справедливости. Но сначала — фамилии…

— Господи! Это в последний раз, клянусь! — затянул палач свою волынку.

Его бормотание подхлестнуло Лену. Рука взметнулась, и палка опустилась на голову почти невидимо и бесшумно.

Палач ткнулся лицом в пол, и к нему бросился Слава. Веревка за долгие часы ожидания взмокла в руках и выскальзывала. Все же ему удалось связать человека в исподнем. «Человека? — переспросил себя Слава. — Нет, человека мы бы не убивали».

Лена шепнула:

— Проверь еще раз, крепки ли узлы. Не доведи Бог…

Слава послушно затянул покрепче концы веревки, сказал с мужской уверенностью:

— У меня не вырвется! — И деловито спросил: — Подождем, пока сам очухается?

— Обождем. Пусть сам…

Палач не оживал. Как ткнулся носом в пол, так и лежал — минуту, вторую, третью. Господи, как же его разбудить? Дотрагиваться до него не решались, а он все не шевелился…

Лена тихонько сходила на кухню, принесла воды, рукою — не изо рта — брызнула на него. Не помогло. Неужели мертв? Неужели она перестаралась и сразу... наповал? Жаль! Не сумели допросить его, узнать свои фамилии.

Посокрушались, да что сделаешь — так получилось. На всякий случай выждали немного еще и выволокли его во двор. Через сад дотащили тяжелое тело до пустыря и скатили в примеченную днем канаву. Засыпали сырой от утренней росы землей.

Оба дрожали — то ли от холода, то ли от страха.

Возвращались уже засветло. Никого не встретили: в доме, выходящем окнами на пустырь, так же жили ночные работники, и они в такое время отсыпались.

Очнулся палач в темноте. Слой земли на нем был невелик, и тонкая тряпка, закрывавшая глаза и рот, не давая возможности видеть или звать на помощь, позволяла скупыми глотками цедить воздух.

Он пытался пошевелиться, вырваться из вбиравшего его в себя ада, но крепко связанные руки и ноги не оставляли шанса на освобождение. Это означало конец. Но молча, как давешние поэты, он умирать не собирался. Выл, мычал, стонал. Но вскоре затих. Немея от ужаса, почувствовал дыхание земли. К нему приближались люди.

И он их узнал.

Свои и чужие

Федор прошел в конец вагона, где еще раньше заметил заключенное в багетную рамку, словно картина, расписание. Та-ак, скорый «Дортмунд — Базель» прибывает в его город ночью. Хорошо. Ночная мгла не раз спасала ему жизнь. Уже развернувшись, подумал: «Хотя ночь — лучшее время и для тех, кто охотится в этой мгле».

Зайдя в купе, Федор снова оказался напротив пожилой немецкой пары. Поглядывая на улыбающихся жизнерадостных пенсионеров, он испытывал сложное чувство. Прошло всего три года, как закончилась война, а для этих двоих ее словно и не было. Словно она не коснулась их судеб, судеб их детей, родных, близких, всей страны. Просто, но опрятно одетые, подтянутые, моложавые, радостные, они сидели, держась за руки, и нежно ворковали. Счастливые. Молодожены да и только.

Федору вспомнились родители. Где-то в лесах Беларуси доживала-вымирала его маленькая деревушка. О чем-то задумавшись, у окна стоит мать. С охапкой дров шумно входит в хату отец, обивает у порога ноги от снега.

— Ух, ну и холод, — вырывается у него. — Бр-р-р!

Он с грохотом опускает дрова у печи, но в огонь не бросает. Знает: мать любит делать это сама.

Почему мама в пятьдесят выглядела на все семьдесят, а этим двоим — судя по обрывкам фраз — в их семьдесят не дать и пятидесяти? Почему мама за всю свою жизнь ни разу не видела даже холодного вагона-телятника (и слава Богу!), а эти бодренькие немецкие старички катят себе в купе класса «люкс», не замечая ни велюровых кресел, ни хромированных ручек, ни дорогого дерева двери, ни узорных зеркал, ни периодически мелькающего с заискивающими глазами официанта? Окажись мама сейчас здесь, вряд ли кто смог бы переубедить ее, что она не в раю.

Официант снова мелькнул где-то справа и в очередной раз кинул взгляд в его сторону. Федор давно чувствовал себя неуютно рядом с аккуратно и медленно — по науке — жующей парочкой и чуть заметно махнул официанту. Тот, как и ожидалось, скупое движение пассажира заметил сразу:

— Jawohl, mein Herr[1].

---

[1] Да, господин (нем.).

«Бутылку водки и огурчиков, — пронеслось у Федора в голове. — Вот бы удивился вышколенный “бой”, а благополучная парочка онемела бы!» Улыбнувшись, сказал:

— Zwei belegte Brote und Tee mit Zitrone[1].

За окном мелькали ухоженные пригородные особняки, вытянувшиеся в ряд вдоль дороги. Глядя на них, снова вспомнил свою деревушку, тот день. Он обнимает маму, прижимает к себе, держит — боится за нее. Энкаведисты закончили обыск и выводят из дома отца. Отец уходил молча. Знал: если скажет хоть слово на прощание, мать вырвется из объятий сына и бросится на этих, в кожанках. И тогда они заберут и ее. Дети останутся на мальчишку Федора. И отец молчал.

Когда энкаведисты ушли, мать высвободилась из ослабших объятий сына и выбежала на улицу. Слава Богу, «воронок» отъехал довольно далеко и они не услышали ее проклятий.

Голосить мать перестала только под утро: связки не выдержали, голос пропал, она хрипела. Хрипела, шептала, проклинала…

Федор очнулся от вкрадчивого, но настойчивого голоса официанта:

— Mein Herr, Ihre Stullen und Tee[2].

«Спасибо, — чуть не сказал Федор на родном языке, но вслух, к счастью, вырвалось только “с-с…”» И он выкрутился:

— S-s-sehr schцn. Alles so schnell![3]

Накинув на чай, заставил себя снова улыбнуться.

Поезд летел и летел в ночи, и с такой же стремительностью неслись-набегали воспоминания…

Большевики приближались к Минску. Сильно рискуя, Федор все же приехал к матери. Он должен был проститься. Что будет с ним, как повернется его судьба — не знал и не представлял. Для матери же он уходил навсегда. Младшие дети плакали. Разрыдалась и четырнадцатилетняя Ольга. Она оставалась за старшую…

Пара напротив поднялась, попросила у него прощения за беспокойство и захлопотала над чемоданами. Они были такие же, как и хозяева: чистенькие, сияющие, без единой царапины.

Поезд постепенно замедлял ход. Откуда-то сверху прозвучало:

— Frankfurt am Main. Nдchste Station Darmstadt[4].

---

[1] Пару сандвичей и чай с лимоном (нем.).
[2] Господин, Ваши сандвичи и чай (нем.).
[3] Большое спасибо. Все так быстро! (нем.)
[4] Франкфурт-на-Майне. Следующая станция — Дармштадт (нем.).

Соседи вышли, и Федор поспешил к окну. Пару встречал улыбающийся молодой человек. Сын, понял Федор, услышав даже через стекло веселое: «Ich dachte, die Eltern hatten mich ganz vergessen»[1].

Один рукав пиджака у молодого человека был пуст и вложен в боковой карман. Федор вдруг подумал: пусть бы и у него не было руки, только бы оказаться вместе с отцом, матерью, семьей. Вздохнул: железный занавес не признает и такой платы. И Федор отошел от окна, чтобы не сглазить, не помешать чужому счастью.

Почему для него нет покоя? Война закончилась, для всех наступил мир. А он все воюет. Собственно, не он. Воюют с ним, хотят убить: мол, отказался умирать за Родину. Нет! За Родину он отдал бы все! Но — за свою Родину! А за эту, которая убила его отца? Убила миллионы своих сыновей? За такую родину он не хотел воевать и не будет! Он хочет ходить по родной земле свободным человеком, а не ползать по ней рабом. И он сражается за Родину! За свою Родину. Свободную, независимую, вольную! А сражаться он умеет только пером. И, видимо, неплохо умеет, коль на него ведется охота. Несколько последних месяцев чувствовал за собой хвост: «товарищи» нашли, кого искали.

Приближалась станция. Федор взял саквояж и направился в хвост поезда. Из своего третьего вагона он должен пройти до последнего, а потом назад. И главное — запомнить встретившиеся на пути лица.

Возвращаясь, в четвертом вагоне Федор увидел того, кого искал, — почти столкнулся с ним. Федор не знал его в лицо, но почувствовал: это — «свой», товарищ. Свой, что хуже чужих, хуже самых заклятых врагов. «За мной пришла смерть», — подумал, побледнев, однако нашел в себе силы улыбнуться. По всему, не растерялся и товарищ:

— Kommen Sie durch... Bitte[2], — бодро сказал на хорошем немецком.

Разминулись, сохраняя на лицах улыбки. Федор — от нервного напряжения: «Профессионал, трудно будет уходить». Товарищ — и впрямь прикрывая ею растерянность от внезапного сюрприза: «Вот сволочь, еще и проверки устраивает!»

Федор пошел в свой вагон, а товарищ в нерешительности замешкался. Он должен был сблизиться с объектом вплотную, чтобы не упустить его в вокзальной толчее. Теперь карты спутаны: остается проследить, как он выйдет из вагона, а дальше действовать по

[1] Думал, что старики совсем меня забыли (нем.).
[2] Проходите... Пожалуйста (нем.).

обстоятельствам. Не самый надежный вариант, но это лучше, чем еще раз столкнуться с редактором и уж точно засветиться. Он подошел к окну и припал лицом к стеклу: поезд притормаживал.

Федор знал, что его будут встречать на выходе из вокзала, но как туда пройти, минуя четвертый вагон? Вдруг спохватился: «Плащ! В этот пронизывающий ноябрьский холод в столь легкой одежке садился в поезд я один, — мелькнула мысль. — Они будут высматривать прежде всего мой плащ». Прощупал карманы: пусто. Королевским жестом бросил плащ, служивший ему еще и талисманом (поэтому и не хотел расставаться с ним даже глубокой осенью), на кресло. Вспомнив официанта и такого же липуче-вежливого проводника: «Ja, ja, Sie haben ganz Recht»[1], сунул небезопасную теперь вещь под сиденье. Вынув из саквояжа бумаги, отправил вслед за плащом и его. «Немцы могут догнать: “Mein Herr, Sie haben etwas vergessen!”[2]. У этих педантов, если что и захочешь забыть, — не забудешь. Не дадут! Вот страна! Стоящую вещь просто так оставить нельзя».

В тамбуре Федор оказался рядом с моложавой, как и недавняя соседка, старушкой. Любезно подставив руку, помог ей выйти из вагона. Несколько комплиментов — и Федор получил согласие проводить ее до такси. Пока он со старушкой, к нему, пожалуй, не полезут.

«Профессионал» не обратил внимания на пожилую даму с сыном: ему нужен был «плащ». А тот не появлялся.

Вскоре мимо четвертого вагона прошли последние пассажиры, а «плаща» все не было. Ночной охотник заволновался, сорвался и побежал. Не было редактора и в шестом купе третьего вагона. По привычке обшарил укромные места. Под одним из сидений нашел плащ и саквояж.

— Вот сука, сделал! — прошипел, раскрыв саквояж. — Но просто так не смоется: наши подстраховались — встречают и на вокзале. Там маскарад не пройдет, они знают писаку в лицо.

Подстраховщики — их было двое — и впрямь засекли Федора на выходе из вокзала. Выхватил и он из массы встречающих их цепкие взгляды. Посадив старушку в такси, нагнулся к ней, чтобы пожелать «Gute Fahrt!», и в боковом зеркале автомобиля увидел то, что должен был увидеть: его ведут. Слежку Федор чуял за версту. Ни себе, ни кому-нибудь другому он бы не объяснил, каким таким шестым чувством обладал, что почти со стопроцентной точностью мог сказать, есть вблизи ищейки или нет.

---

[1] Да, да, вы абсолютно правы… (нем.)

[2] Господин, вы забыли! (нем.)

Вот и сейчас. Увидел двоих в зеркале и определил — «свои»! Как и на Родине, «свои» здесь делились на два лагеря: на тех, кто убивает, и тех, кто убегает от убийц.

Федор был из последних, и он побежал. На Родине бежать было бы некуда. Здесь, слава Богу, не Родина.

Ожидавший Федора Толик уже несколько минут наблюдал за спектаклем со старушкой. Заметил он и двух товарищей. Приоткрыв правую дверцу «Мерседеса», Толик снял пистолет с предохранителя, но все никак не мог решить: следовать до конца указанию Федора или рискнуть и действовать по обстановке? Нет, редактор приказал оставаться в машине, что бы ни случилось. И он останется. При любом повороте событий будет ждать, пока Федор не подойдет сам. И вот тогда… Тогда у него и появится шанс доказать, что из лагеря «для перемещенных лиц»[11] шеф забрал его не зря.

Федор подбежал к нетерпеливо тронувшейся с места машине и нырнул в открытую дверцу. Как только очутился рядом с Толиком, придавивший было страх отпустил: он — не один, рядом друг, уже легче.

— Давай, жми! Уходим!

Больше ничего не успел сказать — перехватило дыхание: Толик вжал педаль газа в пол и заставил «Мерседес» развернуться почти на месте. Через секунду машина вылетела на дорогу. Да так резко, что редактора снова вдавило в сиденье.

Они уже изрядно удалились от вокзала, когда Федор обернулся и увидел, как к тем двоим подбежал полицейский. Жестикулируя и показывая на «Мерседес», тот что-то кричал.

«Не нужно было так лихо рвать с места», — вздохнул Толик.

В следующую секунду те втроем уже бежали к припаркованному за стоянкой такси «Фольксвагену».

— Толик, ныряй в первый же переулок! Хоть в этот, слева! — приказал Федор.

— Налево нельзя — одностороннее движение и не в нашу сторону. Налево пойдем за городом. Тут недалеко… — прокричал Толик.

«Недалеко — это верно, — подумал Федор. — Да здесь и не разгонишься. Впрочем, на такой улочке не очень-то рванут и дружки родимые с полицейским».

Но он ошибся. К тому времени, когда они с Толиком пересекли городскую черту и перестроились в левый ряд, «Фольксваген» почти догнал их.

За городом полицейский товарищам стал не нужен. Им был нужен редактор, желательно — со списками и адресами сотрудников

и авторов ставшего им как кость в горле антисоветского журнала. И один из товарищей выстрелил полицейскому в голову.

Федор не видел этого, но услышал. Понял — выстрел не последний, и крикнул:

— Гони!

Стрелка спидометра легла на ограничитель шкалы и застыла. «Фольксваген» вроде немного поотстал.

Толик понимал, что на такой скорости в непроглядной темени ему не вписаться ни в один поворот, но ветер, ворвавшийся в кабину после того, как пуля второго выстрела разбила заднее стекло, заставлял его по-прежнему давить на педаль.

Спустя какое-то время фары «Фольксвагена» перестали слепить Толика через боковые зеркала: погоня отстала. Скоро дорога, по которой они мчались, выведет на автобан, а там — ищи ветра в поле.

И они бы, пожалуй, ушли, если бы…

Гонявшие мяч неподалеку от дороги подростки бегать за день подустали. Но несмотря на усталость и на прохладную погоду, домой им идти не хотелось. Решили поработать еще над точностью удара. Не в ворота, а по мишени. Ее долго искать не пришлось: поблизости светился знак «Уступи дорогу», который явно претендовал на роль «девятки». Правда, толстяк Карстен, по кличке «Маменькин сынок», пробурчал что-то насчет родителей и возможных нехороших последствий, но в запале его не услышали.

…Хельмут подходил к мячу последним. Предыдущие снайперы меткостью не блеснули — казалось, знак кто-то заколдовал.

Хельмут, самый старший, главная надежда команды, обязан попасть в цель. Он понимал это и потому не спешил. Подошел к мячу, поправил его, посмотрел на знак, тяжело выдохнул, пробурчал что-то — видимо, заклинание — себе под нос и только после этого разбежался и — ударил. Силы были вложены до остатка, Хельмут даже на ногах не устоял. Он упал и не увидел, как мяч врезался в верхнюю часть железного треугольника, снес его, отрикошетил и разбил освещавший знак фонарь.

Все кинулись к Хельмуту. Обнимали, поздравляли, восхищались: вот это ударчик! В тот момент Хельмут, конечно же, и думать не смел, что спустя шесть лет на него вот так же после убийственного (как потом напишут газеты) удара навалится почти вся сборная Германии в финале чемпионата мира.

На радостях о принесенном в жертву футболу знаке забыли. Шли домой, смеялись, болтали — до знака ли было? И родителям о нем никто не сказал. Хельмут, правда, спохватился, но тоже промолчал.

«Зачем? Сегодня поздно уже, а завтра воскресенье, выходной, сами все и поправим».

...Толик, потеряв преследователей из виду, наконец позволил себе отпустить педаль газа, перевести дух, но лишь на мгновение. Он вряд ли понял, что произошло. Он еще не успел расслабиться, потому даже и не дернулся.

Федор увидел летящую на них машину, но успел лишь закрыть лицо руками.

В «BMW», врезавшемся в «Мерседес», возвращалась по автобану домой семья: отец, мать и сын. Все трое, как и два пассажира другой машины, домой не попали — остались на месте аварии. Удар при столкновении был неимоверной силы, и все пятеро погибли почти мгновенно.

Двое прежде других подоспевших к месту аварии товарищей смотрели на сцепившиеся в смертельных объятиях машины и гадали: их опередили или это простая случайность? Если первое, то теперь и они стали теми, кто убегает, однако, в отличие от редактора, им придется убегать и от своих, и от чужих.

В морге после тщательного просмотра документов погибших в автокатастрофе молодой следователь, не веря своим глазам, удивленно развел руками: «Невероятно! Пассажир из «Мерседеса»-нарушителя и двое из «BMW» еще за пару часов до аварии ехали в одном поезде, даже в одном вагоне...»

Яблоня

Вот он и дома! Хорошо, что у них был свой дом. И слава Богу, после его ареста не забрали мать и жену старшего брата с сыном. Семья контрреволюционера! Арестовав «преступника», энкаведисты, как правило, высылали и всю его родню. Но в этот раз семью не тронули. Иногда они щадили детей, которых глумливо называли цветами жизни.

— Хай растуць, можа, камсамольцами стануць, — сказал их главный, кое-как справляясь с трудностями не родного для него языка.

Так и остался дом за ними. И ему было куда вернуться. И вот он снова здесь.

Их сад! Дышать воздухом родного сада! Не об этом ли мечтал все эти бесконечно долгие годы?! Когда-то сад заложил на пустыре его отец. Сказочный, как оказалось, сад. Он жил, рос вместе с ними. Радовался и грустил, спасал от жары и участвовал в играх.

Отец первым поставил здесь дом, рядом с которым начали селиться-строиться его друзья-моряки, однополчане по русско-японской войне. Улицу так и назвали — Морская. Потом она вытянулась, раздалась вширь, стала Великоморской.

Но вначале был сад!

Большой яблоневый сад. Была в нем и любимая яблоня. Ранетка. Самая зеленая и стройная, опередившая подружек в гонке к небу. За долгие годы, пока он ходил под дулом карабина, она разрослась, стала красивее, но — и постарела. Сдал и он. Глубокие морщины суровили лицо, грубые следы напоминали о лагерном хирурге, вживую вырезавшем гнойники на его теле. И шрамы, оставшиеся после того избиения, когда их, трех руководителей восстания в Норильском концлагере, отдали в руки садистов. Те били их смертным боем. До собственного изнеможения. Когда уставшим убийцам показалось, что зеки отошли, скончались, они не потащили жертвы к лагерной яме-могильнику — бросили там, где убивали, за бараком. Стояла зима, и за ночь все засыпало снегом. Выкапывать замерзшие тела никто не собирался.

Придя в сознание, не сразу понял, где он: на том или на этом свете. На том не могло быть холодно, там всегда лето, всегда тепло. Значит, он еще здесь, живой, и его придут добивать. Он не боялся смерти, но при мысли, что перебитые кости снова будут ломать, сознание вновь покинуло его.

Когда очнулся вдругорядь, первое, что услышал, — стук собственного сердца. «Я слышу, я дышу, я жив», — но радоваться не спешил: он ничего не видел. «Снег! — догадался. — Меня засыпало снегом». Попытался сжать в кулак пальцы правой руки — на левую, изувеченную еще в «американке», не надеялся. Пальцы не слушались, но рука шевельнулась. Подтянул ее к груди и, собравшись с силами (скорее, это были и не силы даже, а нечто иное, что приходит, когда сил уже нет), толкнул вверх. Рука с неожиданной легкостью преодолела сопротивление. Вот почему он может дышать! Снег лишь припорошил его. Теперь опустить руку, убрать остатки снега с лица. «Свет! — обрадовался. — Живой!» Прислушался — тишина. Попытался приподняться, но — раздались голоса, и он замер.

— Товарищ лейтенант! Тут кто-то из этих... Ну-у, вчерашних... Кажись, шевелится.

— А что, Чезаев не всех добил?

— У него вроде штык сломался...

Он вспомнил: ему должны были сделать контрольный укол — проткнуть грудь. Значит, штык сломался прежде, чем очередь дошла до него.

— Товарищ лейтенант, добить гада?

— Стой! Посмотрю, что за умелец такой по части выживания объявился. Не тот ли, кого вы последним кончали? Да-а, молодцы... Ладно, чего стоишь, как присох, неси лопату...

Он подумал: «Сейчас добьют. Не повезло — день! Дважды так везти не может: и чтобы выжил, и чтобы ночь».

Его подцепили лопатой, оторвали от мерзлой земли и поволокли к бараку. Боль сдавила, и он вновь забылся.

«Смотри, все еще жив, — удивился, ощутив себя на нарах. Не знал, радоваться этому или нет. За долгие годы заключения ему не раз доводилось видеть, как живые завидовали мертвым. — Но почему не добили? Может — такое уже бывало — лагерный врач во имя советской науки попросил, чтобы ему отдали живой труп?»

— Ну, дружок, руку спасу, а пальцы — уж прости, поздно обратился, — заговаривал доктор невыносимую боль. — Да что там пальцы! Скажи спасибо, что живой остался. — И, осмотревшись по сторонам, добавил тише: — А как там, у Бога? Есть он, Бог, или нет? Я в последнее время что-то усомнился...

— А я не сомневался в тебе, моя любимая яблоня. Ты — мой Бог. И я снова с тобой, — говорил человек, стоя в тени большого ветвистого дерева. — Но помнишь ли ты меня? Помнишь ли мальчишку, всегда норовившего залезть на самую верхушку? Как

будто там яблоки самые вкусные. Отец говорил, у тебя — особые плоды, их вкус — это вкус Родины. Он был прав. Я помню его слова до сих пор. Это они заряжали нас с детства чувством свободы, будили мечту, укрепляли веру.

Вера... В тот раз, когда их убивали, думал — все, она покидает его. Жалел, что не нажил детей: было бы кому продолжить начатое, но не завершенное им. Теперь он спокоен: у него есть племянник — родная кровь! — которого давно зовет сыном. И значит, есть шанс, что их дело будет продолжено.

Он вспомнил, как жутко кричал его однокурсник Сергей Беланович. Сергей боялся боли. Еще в детстве он неудачно спрыгнул с дерева, и врачи без анестезии зашивали рану у него на ноге.

В ту ночь, когда их убивали, Сергей просил палачей пристрелить его. А умер под ним, под своим другом, захлебнувшись собственной кровью.

Сегодня двадцать девятое. Перед восстанием они поклялись: кто останется в живых и вырвется первым, сделает это в течение недели. Выжил один он. И осталось два дня. Точнее, тридцать пять часов. Уже меньше.

Все эти годы он представлял, как подходит к тому, онемевшему, с выпученными от страха глазами, знающему, кто пришел. Подходит, говорит: «Иуда, вспомни Сергея», — и всаживает нож в его чисто выбритую — аккуратист! — шею.

Теперь он понял: мстит не за отца, священника, осужденного на тринадцать лет лагерей по приговору иуды. Не за братьев, расстрелянных по его же указке в 1937-м. На допросах, пытаясь заставить братьев избивать друг друга, палачи сделали их инвалидами. Но они выдержали все. Не осталось сил только для одного — идти на расстрел. Обессиленные тела палачи тащили волоком.

Он пришел мстить не за себя, не за друга Сергея — пришел мстить за всех с того света.

Он, конечно же, слаб. В лагере отняли здоровье. Однако нож, отточенный зеком еще царской закваски, его рука удержит.

Оставалось три вопроса: когда? где? как?

«Когда?» — решили давно, назначили вот этот необъяснимо жесткий срок: семь дней после обретения свободы. У него осталось чуть больше суток. «Где?» Хорошо бы в том самом здании, в котором иуда их когда-то судил. Не сразу, а постепенно, на протяжении десяти лет пересадил всю семью, вырезал под корень. «Как?» Это он знал.

*

Утром, перед тем как уйти, он постоял у своей яблони. Та за ночь расцвела, словно помолодела, и ему на миг показалось, будто она улыбается. Он понял: яблоня прощается с ним, она все знает. Скоро он сделает то, что должен сделать, и платой будет его жизнь. Что ж, он согласен. Жизнь немощного инвалида — за жизнь убийцы сотен и сотен. Он к этому готов. Прощай, яблоня. Прощай, жизнь...

Вошел, увидел и поразился: судья за прошедшие годы почти не постарел. Неужели жизненные силы жертв и впрямь переходят к убийце? Сколько же он собирался прожить, если стольких уничтожил?

В первое мгновение судья его не узнал. И лишь присмотревшись, понял: пришел тот, кто не должен был прийти, не должен был выжить. Ведь он сделал все, чтобы этого не случилось. Видимо, сделал недостаточно.

«Время! Главное — потянуть время», — решил судья и начал говорить, объяснять, клясться. Потом стал кричать. Надеялся: может, услышат.

— Вспомни Сергея, — было последним, что он услышал.

Мститель посмотрел на застывшего в кресле судью, перекрестился: «Если бы все, кого ты отправил в ГУЛАГ, и те, кому удалось вырваться из страны-клетки, узнали, что иуда сдох, — тысячи огней-салютов зажглись бы сейчас по всему миру».

*

Ночью он спал на удивление спокойно и проснулся не по-лагерному поздно — около восьми. Мать стояла у постели. Плакала.

— Володя, тут пришли, — сказала чуть слышно.

Он не испугался. Он давно перестал бояться. Маленькая, белая, теплая от ладони таблетка ожидала его.

— Аминь! — прошептал Владимир и, взглянув на яблоню в окне, поднес покалеченную правую руку к губам.

Ностальгия

Пограничник долго и внимательно разглядывал паспорт Михаила.

— Philipp Traison, — прочел, слегка наклонив голову в сторону, как это делают, когда вроде и соглашаются, но не верят.

«Ну-у, если старлей еще на первой странице, а меня уже трясучка взяла — этак до Родины я не доеду», — невесело рассудил Михаил и мысленно приказал себе расслабиться, улыбнуться.

— Из Франции. Виза до… двадцать пятого, — с паузами, словно заучивая наизусть, читал дальше пограничник. — Понятно, — уточнил что-то для себя, — понятно. — Vous allez au festival?[1] — вдруг переведя взгляд с паспорта на Михаила, спросил неожиданно по-французски.

«Вот тебе на! — поразился Михаил. — Говорит почти без акцента! Словно во Франции и родился. Интересный старлей, интересный». Но не растерялся, ответил смятой акцентом скороговоркой:

— Фестивал, мир, дружба. — И после небольшой паузы добавил: — Je suis le correspondant de «l'Humanité Dimanche»[2].

— О, товарищ — журналист. И не просто журналист, а наш, коммунистический, — сделал вывод всезнающий пограничник. — Очень приятно! Добро пожаловать в первую в мире Страну Советов! Желаем плодотворного труда…

«Да-а, — мысленно перебил Михаил лейтенанта, — в этой первой в мире всегда и всем только и желали, что плодотворного труда. Плодотворного и рабского, почти без оплаты. И теперь, спустя четверть века, — желают то же самое. Время здесь, не иначе, остановилось. И когда в этой стране начнут желать плодотворного, к примеру, отдыха? В конце концов — просто хорошего отдыха и хотя бы среднеоплачиваемого труда? А уже потом человек посмотрит (в зависимости от оплаты, конечно), надо ли ему напрягаться, лезть из кожи вон».

Пограничник вышел из купе, и Михаил облегченно вздохнул. Напряжение спадало. Вскоре поезд тронулся. «Как будто только того и ждали, когда старлей сойдет, — подумалось Михаилу. — А почему — как будто?» — ответил себе вопросом, на который знал ответ.

До Минска поезд сделал несколько остановок, каждая из которых, как казалось Михаилу, могла стать для него последней. Но

---

[1] На фестиваль? (фр.)

[2] Корреспондент «l'Humanitй Dimanche» (воскресное приложение к газете французской компартии «l'Humanitй»).

все обошлось. «Не такая, видно, я крупная птица, чтобы поезда из-за меня останавливать», — шутил уже успокоившись.

После Минска поезд, словно открыв второе духание, пошел без остановок. Михаил смотрел на бесконечный лес за окном, и незаметно им снова овладевала старая хроническая болезнь. Причина была самая что ни есть реальная: поезд недавно миновал станцию, на которой никогда не останавливался — слишком мала. Но для Михаила это была самая дорогая станция в мире — станция его детства. Тогда, в начале двадцатых, семи-восьмилетними мальчишками они прибегали сюда едва ли не каждый день. До станции, или, как они говорили, до железки, от их деревни было совсем немного — верста, не больше. Гудки паровозов тревожили их детские души, звали в неведомую даль. Им казалось, что в проносящихся поездах идет какая-то своя, иная, чем у них, жизнь. Тайная, загадочная, настоящая. В надежде заглянуть в окна вагонов они залезали на невысокий забор, отделяющий железку от остального мира, и висели на нем часами: очень уж хотелось знать, что там — за цветными занавесками.

А потом Михаил убегал в свой лес — так он называл недалекую от их дома рощицу. Обходил ее, как бы желая убедиться, что, пока его не было, все здесь осталось на месте. Он говорил со своей рощей, рассказывал о тревожащей душу железке.

В роще ему было легко и покойно. Тихий шум деревьев убаюкивал, словно материнская песня, навевал сны. И он засыпал, попадал в сказку. Но почему-то в этой сказке ему каждый раз слышалось одно и то же заклинание: «Однажды ты предашь меня, не вернешься со станции, уедешь далеко-далеко. Так далеко, что возвращаться будешь долгие годы».

И однажды Михаил и в самом деле сел в единственный останавливавшийся на их станции поезд. И тот увез его в совсем не близкий свет.

Он и сегодня до мельчайших подробностей помнит, как покидал Родину. Как тревожно билось сердце. Все долгие годы разлуки в его сознании прокручивался бесконечно перезаряжаемый ностальгией один и тот же фильм. Мать смотрит вслед уходящему поезду. Он высовывается из окна, кричит: «Мама, идите домой, холодно». Но мать все стоит и стоит. Ее уже не видно. Она превратилась в точку, но точка не исчезает. Он вспомнил стих: «Добрая бедная мама, хiба ж ня чорная сiла злога сьвету, мама, нашую радасьцъ скасiла?»

Станция детства осталась позади. Михаилу стоило огромных усилий сдержать себя и не спрыгнуть, не углубиться в подросший,

теперь уже зрелый лес, чтобы снова опьянеть от его аромата, окунуться в забытый сказочный мир детства. Мир мамы.

Он вспомнил друга — Евгения Колубовича. Тот в гостиной своего дома в Кливленде частенько раскладывал на столе карту родной Гомельщины и представлял, будто едет в поезде. Ночь, а он не спит, стоит у окна и шепчет: «Лес и лес, и нигде ему нет конца! Нету моей тоске конца!»

Эта старая болезнь — ностальгия! Долгие годы она не давала Михаилу покоя. Многих его друзей свела в могилу. Большинство погубило себя алкоголем. Но были и те, кого тоска по Родине и горечь от осознания невозможности ее увидеть не сломили, не заставили искать забытья в вине. Они любой ценой стремились побывать на Родине. Точнее — прорваться к ней: под чужой фамилией, с чужим паспортом, гражданством, даже лицом. И прорывались. Во всяком случае, границу пересекали. Но больше их никто никогда не видел. Как будто, перешагнув границу, они проваливались в бездну, попадали в другое измерение, в никуда.

Михаил был из этих, отчаянных. Но, в отличие от них, к свиданию с Родиной готовился долго и тщательно, продумал все до конца и был уверен, что сумеет осуществить задуманное. «В этой стране главное — не оказаться вне закона», — твердил себе. В восемнадцать, когда его забрали прямо с лекции в институте, он в первый раз испытал, что значит быть вне закона. «Три года принудительно-исправительных работ», — услышал приговор, как предостережение с того света. В лагере поклялся: сделает все, чтобы, пусть и формально, оставаться в ладах с законом. Теперь он — Traison, а не Лещенчук, теперь он — в законе. Во всяком случае, по документам.

Михаил Лещенчук не знал, что встречавший его пограничник был капитаном контрразведки. Но и тот, волнуясь, допустил ряд ошибок: по неопытности перебрал с французским, не придал значения нервозности корреспондента.

Ночь, усталость, пережитые волнения давали о себе знать. Михаил откинул покрывало и прилег. Поглядывавшие на него украдкой две польские студентки, также ехавшие на фестиваль, после напугавших их слов złośliwego wójka kaprała[1]: «Паспорта!» — уже успокоились. Теперь они хихикали, шептались, явно подтрунивали над излишне строгой (как им показалось) пограничной проверкой.

---

[1] Злого дядьки капрала (польск.).

«У этих девчонок прозрение еще впереди, — с горечью думал Михаил. — Возможно, только спустя многие годы они поймут, что не жили, а существовали: замужество, дети, работа, тотальная экономия, борьба за достойный быт и, наконец, старость, внуки. Только они, может быть, и поживут».

Михаил перестал слышать стук колес и незаметно окунулся в сон-воспоминание.

К концу своего мизерного, как считали зеки-старожилы, трехгодичного срока он постепенно разобрался, кто есть кто в лагере. Выводы были неожиданные. «Политики» группировались не по национальной принадлежности, а по интеллекту, образованию, характеру. Белорусский инженер-нацдем со временем отходил от прибывшего с ним в одном этапе земляка-рабочего, причисленного к политическим — рассказал в цехе на перекуре анекдот про усача, — и сходился с украинским писателем, русским ученым, польским священником. Общечеловеческое брало верх над национальным, интеллект побеждал землячеcкие связи.

Заметил он, что и охрана выделяла умников, издеваясь над ними особенно изощренно. Иногда выручал «сильно грамотных» новый начальник лагпункта. Он прибыл на замену лютовавшему здесь до него зверю-садисту, зарезанному зечкой.

Когда окровавленную, без сознания девушку волокли из дома начлагеря в изолятор, ослепший от ярости вертухай не заметил, что в борозде-следе на снегу остался лежать маленький медальон-монетка вместе с оборванной шейной ниткой. Михаил подобрал его. Единственный, кто это видел, был солдат, приведший зечку в дом начлагеря. Видел и промолчал.

Разбудила его проводница. Приоткрыв дверь в купе, спросила:

— Чаёк несці?

Ему страшно захотелось ответить на родном: «Вядома!», но… он не должен понимать вопросов и реагировать на них.

Когда проводница ушла, Михаил открыл глаза. Сидевшие напротив него студентки без умолку о чем-то переговаривались, жестикулировали, будто и не ложились спать. Молодость! Когда-то и для него ночь пролетала как мгновение. Длинными ночи стали потом, в «американке». И позже, в концлагере, на погрузке леса. Те бесконечно длинные ночи навсегда останутся неизлечимой болью в его памяти. Болью за тех, кто надломился, изувечился, погиб, навечно остался в чужой земле.

Проводница снова заглянула в купе.

— Quatre thés, s’il vous plaît[1], — обратился к ней Михаил.

— Что-что? — переспросила, словно не расслышала.

— Чьетыре. Два для девочка и два для pour le vieux monsieur[2], — Михаил постарался остаться в пределах заданного себе акцента.

Студентки переглянулись, запротестовали:

— Mais monsieur n’est pas du tout vieux[3].

«Ты смотри, каковы полячки, — отметил про себя Михаил. — Как запросто на французский переключились! Видно, отличницы».

Проводница поставила на столик чай, покачала головой:

— Веселый товарищ-француз, прямо шутник, — и вышла.

Philipp Traison выложил припасенные шоколадки, печенье, еще что-то в цветных упаковках и, улыбнувшись, пригласил:

— Servez-vous, jeunes filles![4]

Девчонки застыли в нерешительности, но улыбка мсье Philipp’а, яркость упаковок и исходивший от их содержимого чудесный аромат сделали свое дело: молодежь набросилась на угощенье.

«Хорошие девчонки, — снова отметил Михаил. — И что удивительно: строй — дикий, прямо фашистский, а люди — добрые, душою чистые, образованные».

Вскоре студентки окончательно освоились и с аппетитом поедали печенье.

Михаил же в ностальгическом упорстве налегал на чай. Давно он не пил такого чая — цвета слабого кофе и вкуса соломы. Словно приз в лагере получил — за перевыполнение суточной нормы отгрузки древесины. «Время здесь и впрямь остановилось».

Незаметно утро перешло в день, и поезд так же незаметно замедлил ход: Москва!

На перроне встречающих было больше, чем приехавших. «Особое гостеприимство. Социалистическое. Чекистское», — комментировал себе Михаил. Сойдя с поезда, он почти сразу увидел «свою» картонку: «Philipp Traison, journaliste»[5]. Ее держала молодая красивая женщина. Темно-синий костюм придавал ее приятному лицу некоторую строгость. При виде Philipp’а строгость сменилась сначала легкой растерянностью, а затем улыбкой. Рядом с красавицей стоял более серьезный товарищ. «Друг, — догадался Михаил. — Что ж, пока я

---

[1] Четыре чая, пожалуйста (фр.).

[2] Старого мсье (фр.).

[3] Господин совсем не старый (фр.).

[4] Молодежь, прошу! (фр.)

[5] Журналист Филипп Трезон (фр.).

здесь, друг ЧК — мой друг. Это хорошо, что он объявился сразу. Всегда лучше смотреть врагу в лицо, чем чувствовать его дыхание в затылок».

Philipp Traison подошел к встречавшим и весело отчеканил:

— Salut communiste au peuple russe de la part du peuple français frère![1]

Красавица-переводчица сразу приступила к работе:

— Bonjour, camarade Philipp. Je suis votre interprète Ludmila Chevtsova. C'est votre collègue, confrère de profession, journaliste d'«Izvestia» Egor Rovesnik[2].

«Ровесник, — повторил про себя Михаил. — Где-то я слышал эту фамилию. Может, в каком их фильме? Фамилия явно не настоящая. И звучит — как пароль. Не собрат, а воистину брат. Брат с Лубянки».

— Monsieur Philipp, je vous propose d'aller maintenant à l'hôtel, — продолжила переводчица. — Certainement vous avez besoin de vous reposer après le voyage. Et demain, dès le matin — au boulot! Tout d'abord c'est le Kremlin. Ensuite vous avez la rencontre avec des collègues à la rédaction… Le soir vous allez au Bolchoï… Comme vous voyez, nous avons reglé votre emploi du temps jour par jour. On a fait le maximum pour que notre invité ne s'ennuie pas[3].

— Отльи-ично! — выпалил Михаил, довольный тем, что сегодняшний вечер проведет один и появится возможность, может быть последняя, взвесить все «за» и «против». — Soit, que ce soit ainsi! Tout de même, deux jours dans le train, c'est quelque chose. C'est vrai, je suis un peu fatigué. D'accord. Donc, c'est décidé. Alors…à l'hôtel! Où est notre Jaguar?[4]— закончил Philipp Traison уже вопросом и с улыбкой.

Людмила удовлетворенно отметила новый для себя синоним — как она решила — слова машина и показала рукой на выход:

— Je vous en prie[5].

Отъезжая от привокзальной площади и глядя с заднего сиденья новенькой «Победы» на отдалявшийся весь красный от флагов, плакатов, транспарантов и призывов Белорусский вокзал, Михаил вдруг вспомнил, каким видел его в первый раз. Серым, холодным, с беспрерывным лаем собак и криками конвоя: «Выходи! Быстро!

---

[1] Коммунистический привет русскому народу от братского французского! (фр.)

[2] Здравствуйте, товарищ Филипп. Я переводчица Людмила Шевцова. А это — ваш коллега, собрат по профессии, журналист «Известий» Егор Ровесник (фр.).

[3] Есть предложение, товарищ Филипп, поехать сейчас в гостиницу. Вам, конечно же, нужно отдохнуть с дороги. А завтра прямо с утра — в бой. Сначала — Кремль. Потом — встреча с коллегами в редакции. Вечером — Большой театр. В общем, мы каждый день вам расписали. Постарались, чтобы гость не скучал (фр.).

[4] Так и сделаем. Все-таки двое суток в поезде. В самом деле устал. В гостиницу, так в гостиницу. А где наш ягуар? (фр.)

[5] Прошу! (фр.)

Строиться!». Как ему за три года осточертели эти необсуждаемые приказы! «Мизерный срок», — снова мелькнула въевшаяся в память фраза. А перебитые, застуженные руки и ноги и через много лет днем и ночью напоминали о нем.

— On y est. C'est notre hôtel[1], — вернул Михаила в реальность голос переводчицы. Про себя, словно поправляя Людмилу, сказал: «Нет, я еще не приехал. Я только в начале пути».

Гостиница была недалеко от вокзала. Егор Ровесник вышел из машины первым и поспешил открыть дверцу французу. Михаил поморщился: женщины по-прежнему у них не в чести.

Они прошли в холл, и переводчица, пытаясь сгладить впечатление от неджентльменского поступка своего товарища, жестом пригласила Михаила присесть. Бросила ему:

— Attendons un peu. Egor va nous apporter la clef de la chambre réservée[2], — довольная маленькой местью, заулыбалась.

«Так он, оказывается, языка не знает, — догадался Михаил, глядя на растерявшегося чекиста. — Вот тебе и коллега».

Егор посмотрел на беседующих француза и переводчицу, понял, что ему отвели роль швейцара, но замешкался лишь на секунду. Натянув на лицо дежурную улыбку, направился к администратору.

Вскоре он вернулся.

Людмила задала гостю несколько дежурных вопросов о Париже, чем заставила того довольно сильно поволноваться: в Париже Михаил был только проездом. Но быстро явившийся Егор вытянул его из опасной ситуации.

— А вот и ключи, — с удовольствием прервал беседу «французов». А про себя продолжил: «Ничего! После фестиваля ты у меня, умница такая, не то что говорить — стонать по-французски будешь».

Вдвоем они проводили Михаила до номера и открыли перед ним дверь. «Словно на цепи ведут. Под конвоем. Неужели боятся, что прямо отсюда, из холла, возьму и убегу на самые широкие в мире просторы»? — усмехнулся Михаил, плюхаясь на шикарный даже по американским меркам диван.

После бесконечных любезностей и многократных напоминаний о том, что «завтра начинаем активно работать dès 9 heures[3], Михаилу наконец-то дали возможность закрыть за собою дверь.

---

[1] Приехали! Вот и гостиница (фр.).

[2] Подождем немного. Егор сейчас принесет ключи от забронированного номера (фр.).

[3] Уже с девяти… (фр.)

— Фу-у, — расслабил он галстук. — За одну минуту пятнадцать раз выслушать одно и то же! Нет, так до Родины я не доеду, — снова повторил, однако на этот раз — с улыбкой.

Проснувшись все еще по лагерной привычке в шесть, Михаил первым делом (уже по привычке американской) подошел к громадному, «царской» архитектуры, окну. Перед ним до самого горизонта простиралась улица Горького. Улица имени того, кто когда-то первым сказал: «Если враг не сдается — его уничтожают». Под этот призыв вместе с миллионами непонятно откуда взявшихся врагов пытались уничтожить и его, Михаила. Пытались уничтожить, хоть он и «сдавался» (слово лишнее боялся проронить), и врагом никогда не был. Главное — сказать, призвать, бросить лозунг, открыть охоту. А уж повесить на человека ярлык врага и уничтожить его было делом опыта и техники. Опыт же, как известно, дело наживное.

И этот первый в мире пролетарский писатель жал ему когда-то руку. Вручал билет члена Союза... От воспоминания о мокрой от пота ладони чахоточного старца Михаилу стало не по себе, захотелось поскорее умыться.

Не мешкая, принял теплый душ, побрился, оделся. Взглянул на часы: восемь, пожалуй, пора завтракать. Набрал записанный Людмилой номер:

— Здраствуйте. Пожалюста, чай и булка с черна икра. Много. Люблю ваша икра.

Минут через десять ему принесли стакан горячего чая и два громадных бутерброда с икрой. «Стоят, наверное, недельной зарплаты того, кто принес», — подумал Михаил, выбрасывая сандвичи в унитаз. В чай он положил две таблетки из пачки с надписью «Analgin», размешал и выпил. Затем смыл в унитазе упаковку. Посмотрел на часы. Засек время.

Через четверть часа набрал номер дежурной по этажу и попросил вызвать доктора.

Дежурная без стука зашла в его номер. Увидев, что француз лежит в судорогах на полу и держится за живот, с криком: «Ой-ё-ёй!» — побежала вниз за помощью.

Спустя несколько минут в номер ворвались администратор, врач, коллега Егор, переводчица Людмила и дежурная. Егор первым увидел валявшийся на полу стакан. Сняв со спинки кровати полотенце, обернул им руку и поднял возможное орудие убийства. Понюхав и осмотрев его со всех сторон, не обнаружил ничего особенного. Подойдя к телефону, набрал несколько цифр.

Машина «скорой помощи» долетела до «кремлевки» в считанные минуты. Еще через какое-то время «француза» осматривали двое светил в очках.

«Правильно, на промывание», — чуть не кивнул Михаил, услышав, что говорят о нем, отойдя в сторонку, врачи.

— Тяжелый случай. Это же надо — в один присест столько икры съесть. Товарищ сказал, что француз одним махом два громадных бутерброда проглотил. Граммов по двести. Говорит, хотели угодить, — рассказывал стоявший спиной к Михаилу врач своему старшему коллеге.

— Хотели как лучше, а получилось хуже некуда, — заключил заведующий отделением.

— Доктор, — подошел к нему Егор. — Нашего гостя надолго забираете?

— Ну-у, в данном случае спешить нельзя. Думаю, дня три-четыре, не меньше, полежать товарищу придется. Если, конечно, здесь только пищевое отравление.

Палата, как он и предполагал, оказалась одноместной. Наличие соседа Михаила не удержало бы, но все же помеха. Прислушался: тишина. Прошло уже достаточно времени, как его оставили в покое. «Пожалуй, можно встать», — подбодрил себя, поднимаясь с кровати.

Подойдя к двери, затих: «Что-то шагов не слышно. Неужели коллега бросил меня на произвол судьбы? Нет, ходит кто-то, дежурит. У ребят все по плану. По моему плану.

Сегодня пятница. Егор сказал, что они с Людмилой навестят меня завтра утром. А в следующий раз придут только в понедельник: в выходные много работы. Одно слово — фестиваль!

Это хорошо, что фестиваль, без меня забот хватает, и в эти дни я здесь не центральная фигура. Итак, в субботу, где-то с двенадцати, счетчик будет включен».

Но до самого вечера Михаилу не лежалось, не сиделось и не спалось. В нетерпении ходил по палате: скорее бы завтра. Этого момента ждал тринадцать лет. И — устал ждать. Устал ждать, устал жить на чужбине, устал без Родины.

Уже стемнело, когда Михаил не выдержал: «Нет! До утра я здесь не останусь. В этом логове для больных иуд за ночь и спятить можно».

Он подошел к двери, приоткрыл ее и тихо попросил:

— Вода…

Видя, что отозвался другой охранник, прикинул: «Первый отдежурил шесть часов. На то, чтобы уйти, у меня будет почти четверть суток. Нет, целых четверть суток! Достаточно».

Охранник, не найдя отлучившейся медсестры, бесцеремонно порылся в ее столе. Достал несколько маленьких стаканчиков, наполнил их из графина с надписью «вода» и, поставив всю эту батарею на лежавший здесь же небольшой подносик, пошел к палате Михаила. Войдя, удивленно посмотрел на пустующую кровать:

— А где же наш…

Следующее слово, которое охранник намеревался произнести — гость — прозвучать не успело. Удар по голове чем-то тяжелым ослепил его, и он ничком распластался на полу.

Михаил перевернул охранника на спину, обыскал. Удивился: «Ты смотри — ничего! Ни одной бумажки. Если они до такой степени все учитывают, то до Родины я не доеду, — вспомнил свою молитву. Но тут же взял себя в руки: — Успокойся! Отсчет пошел, но собаки пока не спущены».

Окинул взглядом лежащего и неожиданно заметил на полу небольшое коричневое портмоне. «Есть! — обрадовался. — Наверное, выпало, когда переворачивал».

Михаил открыл портмоне, и первое, что бросилось в глаза, это небольшая красная книжечка. Серебром на ней было выбито: «Комитет государственный безопасности СССР». «Хороший документ, — улыбнулся, — то, что нужно».

Раздев гэбиста, он затолкал его под кровать, а костюм аккуратно сложил под одеяло.

Михаил понимал, что его привезли «без сознания» и поэтому медсестра не может знать, насколько хорошо француз говорит по-русски. Дождавшись ее, он почти без акцента спросил:

— А где camarade[1], что вода давать?

— Камарад? Воду? А-а… — наконец поняла его медсестра, — не знаю. Они когда хотят приходят, когда хотят уходят… — Спохватившись, что сболтнула лишнее, сменила тему: — Быстро вы пришли в себя, товарищ Филипп. Молодцом!

«Во-первых, — заперечил ей безмолвно Михаил, — я еще не пришел в себя и вряд ли когда-нибудь приду. Будь в себе, что бы мне делать здесь? Сидел бы в своем Саут-Ривере и пил бы ее, горькую…»

— И знаете… — снова услышал приятный голос. — Хороший сегодня день, точнее — вечер: тепло, звезды. Хотя, конечно, для вас он не самый лучший. А вот у меня дежурство на зависть — всего двое больных: Николай Петрович Карпин в пятой палате и вы…

---

[1] Товарищ (фр.).

«Что?! — у Михаила оборвалось дыхание. — Николай Петрович Карпин? Карпин?! Да нет, — старался подавить нахлынувшее волнение, — не может быть. Не тот…»

— В фестиваль и болеть-то никто не хочет, — докладывала словоохотливая медсестра иностранному гостю. — Николай Петрович лежит уже давно. Говорят, безнадежен. Как бы это вам объяснить? В общем, у него тело гниет. А почему — понять не могут. Кого только не приглашали. Даже из заграницы. Сказали, что все теперь во власти… — чуть не ляпнула медсестра полузапрещенное слово «Бога», но успела проглотить его. — Недавно Николая Петровича снова наградили. Высокие товарищи приезжали, поздравляли. Не удивительно: известный в стране человек, почетный чекист.

«Чекист?! Наградили? Тот! Безусловно! За медальку мог пол-лагпункта угробить».

— Что-то я больно разговорилась, — щебетала молоденькая медсестричка. — Вы, наверное, ничегошеньки не поняли…

«Понял я, голубушка, все понял. Тебе, безусловно, и в голову не приходит, что какой-то француз может знать Николая Петровича. Да, нормальный француз его не знает. Но я-то с этим иродом знаком. Карпин, говоришь, высокие товарищи… Вот так встреча! Да, он был высокий товарищ, один из самых высоких! Один из самых главных палачей! Оказывается, и впрямь бывает, что на ловца и зверь бежит. Нет, здесь без Всевышнего не обошлось. И один шанс из миллиона, выходит, тоже шанс!»

Улыбнувшись, Philipp Traison ответил:

— Я все понять и очень корошо. Et maintenant[1] ест такое j’ai une petite idée[2]: выпит чуть-чуть за дружбу наши страны. За молодост. За фестывал.

Недавно окончившая училище медсестра никогда в жизни не видела живого иностранца, тем более — француза. Ей сразу вспомнились «Три мушкетера» — любимая книжка детства, ее главные герои. Храбрый д’Артаньян, коварная Миледи. А может быть, этот француз — какой-нибудь потомок самого кардинала Ришелье?

С безрассудством, свойственным молодым и впечатлительным, и под гипнозом «французских» глаз она принесла небольшую колбочку с надписью «спирт».

«Спасибо, — поблагодарил Михаил про себя Бога за везение. — Сей напиток будет в самый раз».

---

[1] А теперь… (фр.)

[2] Маленькое предложение (фр.).

Выпив «чуть-чуть», девушка повеселела, засуетилась:

— Я сейчас, мигом, — обронила и выбежала из палаты.

Через минуту принесла свой скромный ужин: бутерброд и два зеленоватых яблока. Но, как бы выходя из гипноза, словно опомнившись, развела руками:

— Да вам же нельзя…

— Все о’кей, о’кей! Тепер un toast[1], как это… Да! Тост за самую belle, то ест красивую.

После третьего «чуть-чуть» глаза у медсестры затуманились, и она заснула. Михаил с облегчением вздохнул: «Уже подумывал, что русский спирт нейтрализует спецснотворное». Осторожно уложил медсестру в свою постель и укрыл одеялом. Край его снова опустил до пола — прикрыл лежащего в одном исподнем гэбэшника. Одев серый костюм блюстителя безопасности, пришедшийся ему почти в самый раз, Михаил осмотрел себя в зеркале и вышел из палаты.

Задержался у столика дежурной по этажу, взял из верхнего ящика ключ и открыл стоявший в углу стеклянный шкафчик. Достал шприц и несколько ампул: «Теперь наведаемся к уважаемому Николаю Петровичу, бывшему начальнику БАМЛАГа».

Шел и вспоминал, при каких обстоятельствах увидел его впервые. Тот только-только принял сеть концлагерей, построенных вдоль БАМа, и первый раз объезжал свои владения. Заехал и в их отдаленный (и потому, казалось, забытый всеми) небольшой лагпункт. Возмущению Николая Петровича не было предела, когда он узнал, что новый начлагпункта отменил ночные смены, за которые приходилось расплачиваться массовым травматизмом, повышенной заболеваемостью и смертностью. В ту же ночь по указанию Николая Петровича на работы погнали всех заключенных: и отмахавших смену, и больных. Погнали и задыхавшегося от запущенного туберкулеза его друга и однокашника Александра Василевича. Под утро Саша так и не дотянул назад, до лагеря, упал в нескольких метрах от ворот. Замертво упал.

В ту ночь травмированных не было. Были умершие — одиннадцать человек. Перед тем, как бросить их тела в вырытую позади лагеря яму-могильник, узникам на «всякий случай» протыкали штыком грудь. Проверяли…

Николай Петрович спал, как и большинство палачей, беспокойно. Все же гложет мерзавцев это предчувствие: рано или

[1] Тост (фр.).

поздно от расплаты никому не уйти, всем воздастся по заслугам. Бывший хозяин БАМЛАГа тяжело дышал, постанывал, что-то бурчал.

«Да, жалок тот, в ком совесть не чиста», — невольно вспомнил Михаил Пушкина. Подошел к кровати.

Лицо начлага напоминало кусок вареного мяса. Внезапно, словно ощутив чужое присутствие, он открыл глаза. Желтые, цвета гноя. Хотел что-то спросить. Но увидел шприц. Понял, кто смотрит на него. Хотел закричать, но вместо зова на помощь Михаил услышал тихий, жалобный писк. Так пищат бегущие с корабля крысы.

— Узнал? — спросил Михаил. — Узнал! Вижу, трясешься. Чувствуешь, пришел твой черед. Бог тебя не забыл. Судя по всему, ты уже висишь над котлом. Но не сейчас, ирод, не сейчас ты захлебнешься в нем, сгоришь в аду. Хотя бы потому, что я не хочу марать о тебя руки. — И Михаил отшвырнул шприц в сторону.

Николай Петрович пытался поднять голову, но она лишь дернулась и завалилась набок. В лицо Михаилу ударил резкий запах падали. Пересиливая тошноту, он вышел из палаты.

Спустился на первый этаж. Как разобраться с вахтером, знал, но ничего предпринимать не пришлось: тот спал прямо на рабочем месте, уронив голову на руки. Михаил осторожно приоткрыл дверь. Прислушиваясь, так же медленно закрыл ее за собой и оказался перед небольшой ухоженной алеей. В несколько перебежек достиг ограды, перемахнул ее и — вырвался на свободу. «Наконец-то пошел отсчет, которого я так долго ждал. Наконец-то разберусь с проклятой ностальгией. Итак, шесть часов, — установил Михаил себе срок. — Не так уж и мало».

Осмотрелся: улица была пустынна. «Такие места у них всегда безлюдны, даже во время фестиваля». Тихо и в больнице. На всякий случай еще какое-то время шел крадучись, прислушиваясь к темноте, и только затем прибавил шаг.

Набитый людьми, в основном работягами второй смены, автобус прополз мимо. Но неожиданно водитель сжалился, затормозил. Открылась передняя дверь. Михаил прикинул, что, пожалуй, втиснется на самую нижнюю ступеньку. Кое-как зацепился, и дверь с натугой захлопнулась. Кто-то, видимо, тоже хотевший влезть, громыхнул по ней кулаком. Но автобус уже тронулся с места. «Стучи, стучи, — буркнул водитель себе под нос, — много вас, таких стукачей».

Он и не догадывался, насколько был прав.

В большинстве своем пассажиры устало молчали, а у Михаила, как у безумного, сияли глаза. Он никогда бы не подумал, что в жуткой автобусной давке можно чувствовать себя счастливым. Ему казалось,

что в этой толпе он действительно исчез, растворился, стал своим. Стал таким же, как и они, как все советские люди, и теперь его отличить невозможно. И, значит, невозможно найти.

Тем временем автобус, не замедляя хода и пропустив три остановки, въехал на довольно большую площадь, развернулся и затих.

— Киевский, конечная, — услышал Михаил бодрый голос водителя.

Словно очнувшись от сна-наваждения, пассажиры заговорили, зашевелились. Со скрипом открылись двери. Выскочив из автобуса, Михаил резко ступил вправо — пропустил поваливших из железного нутра работяг. Отступив еще на шаг, сделал вид, будто возится с развязавшимся шнурком, и осмотрелся. Почти все его спутники поспешили к пригородным поездам — им предстояло добираться домой электричкой. «Интересно, — прикинул Михаил, — сколько нужно заплатить американцу, чтобы заставить его вот так изо дня в день ездить на работу по два-три часа с пересадками и в давке? Нет таких денег у Америки. Потому и на машинах все».

Несколько человек направились к метро. Не мешкая, Михаил присоединился к ним. Предъявил сидевшему перед эскалатором в стеклянной тумбе контролеру удостоверение чекиста (не стал тратить дорогое время на размен нескольких «червонцев», оказавшихся у энкаведиста в портмоне) и, не ожидая, пока тот его рассмотрит, шагнул на ступеньки.

Без приключений доехал до Белорусского. Вокзал гудел, втягивая в себя многолюдье с прибывших электричек. Михаилу на какой-то момент показалось, что и он только-только приехал. Как будто не было красавицы переводчицы, коллеги Егора, серьезных докторов, бесцеремонного охранника, непоседливой молоденькой медсестры.

В дальней от входа кассе Михаил попросил билет на ближайший поезд до Минска и, чтобы снять предательское волнение, уточнил: «Нижнюю полку, пожалуйста». Пока кассирша бубнила: «Какие все умные, в последний момент да еще нижнюю дай», — и вписывала в билет место и номер вагона, он огляделся по сторонам и успокоился: «Людей тьма. Я здесь, как иголка в стоге сена. Поди найди эту иголку».

Взглянул на часы. До отправления поезда оставалось десять минут. Решив, что от кассы безопаснее идти прямо на перрон, задал нервной кассирше еще несколько вопросов ни о чем: «А с какого пути? С первого? И нумерация с хвоста?» Продолжил уже про себя, всерьез: «А как насчет моего “хвоста”?» Незаметно осмотрелся: кажется, отсутствует.

В тамбур Михаил вскочил за минуту до отправления, когда проводница уже опускала стальной лист, накрывающий ступеньки. Она хлопнула дверью и повернулась к нему, чтобы сказать что-то резкое, но, увидев белозубую улыбку и приветливые глаза, растерялась:

— Э-э… Пройдемте, товарищ.

Михаил почувствовал себя виноватым и решил извиниться.

— Простите, — сказал как можно мягче, — вечно куда-то спешу, ну и, конечно, всегда опаздываю.

А сам подумал: «Фразочка-то знакомая: “Пройдемте, товарищ”. Хотя — нет, тогда меня называли гражданином или просто по фамилии».

Соседями по купе оказались семейная пара инженеров, ехавшая к родителям в Беларусь, и товарищ в штатском, скорее всего отставной полковник-подполковник. Мало-помалу перезнакомились, и у Михаила отлегло от сердца: его приняли. «Я — как они, как все. А быть как все — в этой стране самое главное».

Решил пройтись по вагону. Сбоку от входа в туалет висело зеркало. Остановился перед ним: каков он в штатском облачении чекиста? Да, действительно, всякая униформа (а на людях определенного круга и штатское смотрится униформой) делает всех безликими.

Возвращаться в купе Михаил не спешил, вышел в тамбур и задержался у окна. В темноте проплывали необъятные российские поля, и ему подумалось: «Эх, Россия, бескрайняя Россия! Почему тебе всегда своей земли было мало?!»

Все уже легли, когда Михаил вернулся в купе. Лезть на верхнюю полку пришлось впотьмах. Он снял костюм и накрылся жестковатым одеялом. Почти тотчас отключился. Двое суток напряжения дали о себе знать.

Проснувшись в свои шесть утра, Михаил увидел, что полковник тоже не спит. Шепотом поздоровавшись, тот потихоньку спускался вниз.

В этот момент напомнила о себе проводница, разбудив и семейную пару:

— Товарищи! Скоро Минск. Подъем! — бросила в дверь вовсе не в фестивальном тоне.

Слово «подъем» окончательно разбудило и Михаила. Такое уж оно, это слово, — подъемное. Хотя его чаще поднимали хлестким, как кнут: «Встать!».

От таких воспоминаний тревожно забилось сердце. Мысленно приказал себе: «Здесь ты живой, пока в толпе. Так и держись этой толпы!»

Спросил у инженеров, далеко ли им добираться, и, услышав ответ, сделал удивленное лицо:

— Неужели? И мне на Сторожевскую. Просто чудо: нам снова по пути! В таком случае есть предложение взять в складчину такси.

Такси на вокзале не оказалось, а в автобус они сели только в третий — два пришлось пропустить. В давке Михаил снова ожил. Когда проезжали мимо Красного костела, наконец-то осознал: он — на Родине. «Удивительный костел, даже большевики ему нипочем. Стоит себе тихо и ждет своего часа». Вспомнилось: «Вось і Менск — старажытнае места».

Михаил простился с инженерами, сказал, что ему тоже недалеко, и пошел по улице, как бы к своему дому. Вскоре увидел «Победу» с шашечками и снова подумал о везении, что Бог по-прежнему с ним.

— На автовокзал, — бросил водителю, влезая на заднее сиденье.

Шофер был, конечно, удивлен, что пассажир сел сзади (ехавшие в такси обычно любили разгрузить свою душу), но виду не подал: мало ли чудаков по свету мотается.

За недолгую дорогу до автовокзала таксист получил необычно щедрые чаевые и, повторив про себя: «Да, не в себе товарищ», нервно заулыбался, забыл даже захватить вокзальных клиентов и быстренько уехал.

Михаил отстоял в очереди около часа, но билет взял. Последний. «Да, сегодня мне определенно фортит, — невесело улыбнулся. — А время здесь все же остановилось».

Михаил попросил водителя притормозить. Спрыгнул, проводил автобус взглядом. Осмотрелся: в какую сторону идти? Понятно. Нужно держаться правее. Железка в той стороне.

Начало смеркаться, когда Михаил подходил к своей станции. Она не изменилась. Те же белые стены и серая крыша. Кроме обогнавших его двух сорванцов, на перроне никого не было.

Когда-то вот так же носился здесь и он с друзьями. Тех друзей теперь нет. Он остался один. Но бегать продолжает.

— Миша! — прокричал кто-то за спиной, и у него оборвалось сердце. Он, пожалуй, обернулся бы, но тут услышал:

— Чего, мам?

— Чай иди пить. Батон маслом намазала и сахаром посыпала, — высунувшись из оконца кассы, кричала молодая пухлощекая женщина. — И Ваську своего зови.

«Да, я дома», — радовался Михаил, направляясь к лесу. Эта мысль была подсказана простой аналогией: мать вот так же приглашала его друзей к столу. В той стране, где он жил последние годы, соседских детей к столу «за компанию» не звали.

Уставший, переволновавшийся, да еще и в полнейшей темени Михаил плохо ориентировался в своем лесу и к родному огороду вышел не сразу.

Света в доме не было, как и по всей деревне. Деревня спала. Михаилу страшно захотелось отворить дверь родного дома, увидеть мать. Боже, как ему хотелось обнять ее — самого дорогого на свете человека! Но он пересилил себя и решил дождаться рассвета. Не исключено, что как раз в темноте затаились, поджидают его друзья-товарищи.

Михаила разбудило почти забытое «ку-ка-ре-ку-у!». Он спрыгнул с сеновала и с наслаждением вдохнул:

— Вот я и дома!

В утренней, серебристой от росы мгле он увидел любимую рощу, поле, их старый дом. Улыбался: «Господи, неужели это правда? Неужели добрался? Неужели это не сон?»

Да, это был не сон.

Солдаты с красными погонами медленно окружали их дом. И хотя расстояние между ним и краснопогонниками было довольно велико, он все же услышал:

— Взвод, в ружье!

Услышал, но смысла слов сразу не понял. Он — дома! Это главное! И он — счастлив! Что ему эти снующие по задворью тени?! Только бы увидеть мать! Бедная мама! Зря он не постучался ночью. А теперь все!

Михаил еще раз осмотрелся. Обложили так, что и мышь не проскочит.

— Нелюди, я ненавижу вас! — закричал во всю мощь легких.

От внезапно нахлынувшего отчаяния Михаил сорвался с места и побежал. Ослепленный ненавистью, летел прямо на солдат.

Краснопогонники, онемев, смотрели на приближавшегося с криком «ур-р-а!» человека. Майор-гэбист, предчувствуя недоброе, прищурил глаза и заорал:

— Не стреля-а-ть!

Но подобравшийся к дому со стороны рощи со взводом солдат лейтенант одновременно с ним скомандовал:

— Огонь!

Два приказа слились во что-то нечленораздельное, но лежавший рядом с комвзвода сержант лучше услышал своего непосредственного командира.

Автоматная очередь прошила Михаилу спину. Он сумел пробежать еще несколько шагов и упал. Он почти не дышал. Но — видел. Видел наклонившуюся над ним мать. Она обнимала его, целовала, плакала.

— Родненькі ты мой, родненькі, — снова и снова повторяла. — Толькі не памірай.

Но Михаил умирал. Сначала перестал слышать, потом видеть. Он понял, почему, переступив границу с Родиной, падаешь в бездну. Он шептал: «Мама, добрая бедная мама… Ты прымі і прабач свайго сына[1]».

Без Родины Михаил не смог, он выбрал смерть.

Ностальгия — сильнее разума.

Майор смотрел, как старая, седая до синевы женщина гладила по голове своего затихшего сына, слышал, как ее голос постепенно переходил с причитания на крик. Приближавшимся солдатам он сделал знак: старуху не трогать, а сам, достав папиросу, закурил. Хотел успокоиться. Надо же: упустил одного из ведущих сотрудников «Освобождения». Такое не прощают.

Вскоре рука Михаила соскользнула с плеча матери и упала на землю. В разжавшейся ладони майор увидел шнурок с медальоном. Что это? Жар окатил его. Он ясно услышал стук своего сердца. Этот серебристый, с бронзовой окантовкой кружок он уже когда-то видел. Конечно же, видел! Где, когда, у кого?

И он вспомнил. Вспомнил пылавшие ненавистью огромные зеленые глаза.

---

[1] Ты прими и прости своего сына (бел.)

Гости

Они вошли без стука. Да и чего стучать: дверь-то распахнута. Когда бабушка готовила, она ее открывала. В доме не было сеней или прихожей, и со двора гости сразу попадали на кухню.

Не подал голоса из будки и белый в рыжие крапинки Тузик, малолетний представитель отважной дворняжьей породы. Почувствовал: на этих гостей лучше не лаять и смелость свою не показывать. Они — в сапогах. А как больно впивается в тело сапог, Тузик знал не понаслышке. Не так давно испытал на себе. Обследовал находившуюся сразу за их Козыревским поселком железнодорожную станцию «Минск-Южный» и наткнулся на милиционера — ярого ненавистника всякой четвероногой живности. Тут же получил левой толчковой. Отлетел метра на три. С тех пор прихрамывает, а при виде сапог начинает дышать часто-часто, как в летнюю жару.

Гости не стучались, но без шума не обошлось: загрохотал, упав со ступенек, деревянный, на колесах-подшипниках Санькин «танк». Так бабушка называла самокат внука, который он сам и смастерил. Санька гордился, что его «колеса» самые быстрые на улице, и иногда выкатывал их из гаража-сарая для прогонки даже зимой.

Первым вошел пожилой, со сплющенным, будто из-под пресса, лицом и густо разросшимися черными бровями, крепко сбитый мужчина, явно старший и по возрасту, и по званию. Это он отшвырнул «танк» с дороги, бросив:

— Чертовы бульбаши! Заставят вход разным хламом, ноги переломаешь!

Еще с порога он голодным рыскающим взглядом повел в сторону керогаза: что там готовят недобитые буржуи?

Второй — молодой, длинноногий, с гладкими, в светлом пушку щеками — ступил на порог нерешительно: это было его первое боевое крещение. Вот так вламываться в чужие дома ему до сих пор не приходилось — потому и был немного сконфужен, скован. Он, точно пристыженный за плохое поведение школьник, уставился в пол. При этом новый, видимо, только-только полученный казенный темно-зеленый галстук сполз набок, а большие, как у свиньи, уши (была б его воля, он бы, конечно, не стригся так коротко) оттопыривались, словно старались услышать что-то неуловимое. В нем боролись два чувства. Первое — тянуло назад: уйти, убежать, не рыться в чужих вещах, в чужой жизни. Второе — толкало в спину: не робей, действуй. Это же семья врага народа! А ведь и сыновей в расход пустили, и хозяина на каторгу упекли, а что это дало? Старая карга живет себе, внука

растит и еще неизвестно чему учит. Хорошо, хоть народ не спит, бдит, пишет. На днях неизвестный товарищ доложил: шикуют по чьей-то доброй милости недобитые националисты.

Старший сощурился в темной безоконной кухне:

— Ты, хозяйка, не зыркай исподлобья. Мы же не бандиты с большой дороги. Сама все знаешь, не впервой проверяем. Так что шевелись, показывай, чего припрятала, пока советская власть на какое-то время про твою семейку забыла.

Худая, с выдававшими былую красоту большими серо-голубыми глазами, с побитыми сединой, собранными сзади прозрачным широким гребнем волосами старуха, глядя не на гостей, а как бы в никуда, тихо произнесла:

— Дверь открыта, проходите, ищите, если что потеряли…

— Ты пропаганду не разводи! Смотри, договоришься! — перебил ее, продолжая тыкать, старший. — И в дом веди, не стой, как вкопанная!

Хозяйка отступила в сторону, и гости (младший чуть поколебался, вытер о галифе вдруг вспотевшие ладони, был, видно, и в самом деле ошарашен столь неуважительным обращением со старой женщиной) прошли в узкий коридор, а из него — в комнату, служившую одновременно и спальней, и гостиной.

— Неплохо живем, — прокомментировал старший, окинув комнату взглядом. — А икона какая! Это сколько ж такое чудо стоит? Не молчи, хозяйка, к тебе обращаюсь. Золоченая, видно, вещица, на сотни, а то и на всю тысячу потянет? — впившись взглядом в позолоту волос Божьей Матери, размышлял вслух старший.

— Для меня ей цены нет, — прервала его подсчеты хозяйка. — От отца осталась.

— Ты нам мозги не пудри! — загорячился было любитель антиквариата, но, увидев, что старуха решительно шагнула к иконе, словно готовясь ее защищать, отступил. — Э-э… С Божьей Матерью можно и потом разобраться. Вон в углу, — подсказал молодому, — гора тряпья свалена. Может, под ней что интересное лежит. Поворошим змеиный клубок, привыкай.

«Безымянные, — подумала хозяйка. — Как и тогда, когда мужа, а следом сына брали: боятся назвать друг друга по имени».

Младший подошел к тряпкам. Ступил на доски, под которыми хозяин еще в двадцатые оборудовал тайник. Тогда в нем спрятали небольшую, но действительно ценную икону — подарок вовремя сбежавшей от большевиков польской родни (увеличенная копия ее висела теперь на стене). Позже в тайнике нашел прибежище

самодельный всеволновой радиоприемник, настраивавшийся, как правило, на нестандартные девятнадцать метров радио «Свобода». Довоенные и даже дореволюционные книги, несколько чудом не конфискованных («забылись» на момент обыска у соседей) журналов «Маладняк», «Полымя», «Узвышша», «Наш край», семейные и другие фотографии. Некоторые из них отнюдь не предназначались для чужих глаз. Так, на одной хозяин был снят в компании пятерых участников I Всебелорусского конгресса — Аляксандра Вазілы, Міхаіла Гольмана, Ігната Дварчаніна, Язэпа Мамонькі, Кастуся Езавітава. Сфотографировались у здания театра, в котором проходил конгресс. Первых четверых арестовали через день, пятого схватили позже. На другой фотографии старший сын хозяина и Янка Купала сидят за шахматной доской-столиком, а за игрой наблюдают друзья-болельщики, в недалеком будущем — враги народа, поэты Міхась Чарот, Алесь Дудар, Уладзімір Хадыка, Васіль Каваль.

Младший какое-то время медлил, не решался трогать чужую одежду — старые пальто, поддевки, которые спасали бабушку с внуком, когда на дворе лютовал мороз или вьюжила метелица. Но мешкал недолго: превозмог себя, проглотил подкативший было к горлу ком — протянул руку к горе тряпок. Однако брал осторожно, словно боялся: а вдруг там и впрямь затаилась какая змея или крыса? Невзначай поймал взгляд старшего, сообразил: надо действовать смелее, активнее, более решительно — и разбросал одежду по полу. Присмотрелся к доскам, на которых только что лежали тряпки. Не заметив ничего подозрительного, отступил, и тайник снова оказался у него под ногами.

«Хорошо стоит, — тянул голову из-под бабушкиного локтя Санька. — Пусть бы так и стоял…»

Но ученик был парень молодой, энергичный, к тому же он все для себя уже решил, сделал свой выбор — шагнул к окну, к Санькиной кровати, довоенной, еще нэповской.

Спинки кровати украшали блестящие хромированные шарики размером с небольшое яблоко. В левой — ближе к окну — стойке Санька сделал свой тайник. Там он хранил нательный крестик, дюжину польских и немецких монет, восемь царских бумажных рублей, кокарду от полевой офицерской фуражки начала века, детский браслетик, ювелирно собранный из кусочков дерева и белого металла безвестным тюремным умельцем, другом и единомышленником деда (на внутренней стороне браслета было выгравировано: «Жыве Беларусь!»). Но самым опасным из спрятанного в

тайнике Санька считал свернутый в трубку листок бумаги с клятвой, под которой они с друзьями подписались.

«Мы, Пионеры Советского союза (так, «Пионеры» с большой, а «союз» с маленькой, осознанно написал Санька) — А., Т., С. и Л. — создаем тайное общество, задачей которого является конструирование минивертолета для путешествий по земному шару и ознакомление с жизнью других народов… Клянемся…»

А. — это Александр — сам Санька, руководитель организации.

Т. — Тимка, сосед из дома напротив, заместитель по хозчасти. В сарае, стоявшем в глубине их сада, было бережно сложено множество различных дощечек и брусков, два-три фанерных щита, алюминиевые трубки разной длины и диаметра, железные уголки, другие нужные вещи — отец Тимки был известный в округе мастеровой.

С. — их друг Сергей, он жил в Мурманске, но все лето проводил с командой на «железке»; он был сыном известного полярного летчика и потому отвечал за проектирование «объекта».

Л. — Людка — самая красивая на их улице девчонка, Санькина первая любовь. А плюс ко всему активная поборница справедливости. Когда случайно она оказалась свидетелем расправы над Тузикам, то побожилась отомстить вышеупомянутому ненавистнику четвероногих. И отомстила. Милиционер ходил на работу мимо ее дома. В пустую обувную коробку Людка вложила кирпич. Милиционер был большим любителем по-футбольному помахать ногами и заехал сапогом по валявшейся на тропе коробке. Ох и орал же бугай в милицейской форме! До станции хромал, захлебываясь матом. «Это тебе за Тузика!» — приговаривала, грозя кулачком ему вслед, Людка.

«Ужас!» — содрогнулся Санька, припомнив текст клятвы, но как отвести след, сообразил мгновенно.

— Здесь сплю я, — подошел к кровати. — А эту подушку бабушка мне недавно подарила на день рождения, — подсказал проверяльщикам «нужное направление».

— А-га-а! — затянули гости дуэтом, заглотнув наживку. — Подушка что надо!

— Ну и как? — подмигнул Саньке приободрившийся младший. — Не жестко спится на обновке? Что-то очень уж она плотная.

Он подбросил подушку, поймал, покрутил так и этак, сдавил, ощупал со всех сторон. Не обнаружив ничего подозрительного, бросил на пол, взялся за матрас. Не найдя компромата и в нем, пожал плечами и обернулся к старшему:

— Ничего. Подушка как подушка, и в матрасе одна солома.

— Ищи-ищи! — приказал тот. — Не верю, чтобы в логове белогвардейского офицера ничего ценного не нашлось! Чую, прячут крамолу. Смотри, как подозрительно у малого глазенки бегают.

Хороший был нюх у старшего, собачий. Он, наверное, часто находил то, что искал. Вдобавок и наблюдательный: Санькину нервозность вмиг усек. Но в этот раз зря он полез в комод с бельем. И заулыбался, обрадовался рано: мол, вот где припрятано золотишко! А между тем большевики на совесть вычистили дом еще в двадцатом, даже обручальное кольцо у хозяйки с пальца сорвали.

— Первая полка — не показатель, — комментировал свои поиски в комоде, обучая заодно жизни коллегу-новичка. — Вторая... Вторая — тож-же. А вот и находка! — вынул, радостный, несколько дедушкиных писем, присланных из Сибири. — Я знал, что в этом доме если не драгоценности, то уж «политика» точно найдется! Уже теплее. Письма — в папку. С ними потом разберемся. Пошли дальше. Комод — пустой... Теперь — сервант. Рухлядь — старая, возможно, с секретами. Подсоби-ка, — позвал напарника. — Отодвинем... Заднюю стенку вроде не трогали. А что в ящиках? Вилки, ложки... А вверху? Чашки, подстаканники. Серебряные есть? Не молчи, старуха, к тебе обращаются! — повысил голос. — Откуда? Ты мне вопросов не задавай. Ишь, осмелела! Забыла, как... — хотел освежить ее память, но, посмотрев на помощника, передумал. — Я с тобой позже разберусь! В другом месте... Ладно, а что тут? Тарелки? И все? — резко повернулся к напарнику. — Черт бы их побрал! — Но не остановился, стал осматривать комнату. — А ну-ка пройдись, а я послушаю. Может, какая половица про эту семейку чего расскажет.

Насчет половицы он правильно сообразил. Но, когда его ученик наступал на «нужные», те не скрипели: ходил-то он не по голым доскам, а по разбросанной по всему дому одежде.

«На место вещи нужно класть», — посоветовал ему Санька про себя.

Длинноногий обтопал весь пол — доски молчали.

— Некогда, еще два дома впереди, — заторопился старший, посмотрев на часы. — Жаль, стены не простучали, хотя обои, кажется, не менялись. И полы вскрыть не помешало бы, да время поджимает. Ничего, не в последний раз.

Гости вернулись в узкий коридор, прошли в прихожую-кухню. Керогаз не горел. Старший, недовольный результатом обыска, уходя, решил еще раз задеть старуху:

— Вижу, хозяйка не приглашает гостей к столу? Мы к ней по-доброму, по-человечески, а она, значит, вот так. Ясно! Горбатую могила исправит.

Бабушка молчала. Санька хотел было ответить за нее, хорошо ответить, да заодно спросить и о письмах деда, но она прижала его голову к себе.

Гости направились к калитке. Вид у них был озабоченный, но не разочарованный: может, в других домах что ценное сыщется?

Бабушка присела на табурет у порога, тяжело задышала. Санька знал, что последует дальше. Она погладит его, скажет: «Сходи, внучек, в сад, погуляй». А сама зарыдает, начнет стонать, стучать маленькими сухими кулачками себя по коленям и потом долго-долго будет что-то шептать, приговаривать.

Так и случилось.

Санька вышел во двор, поднял самокат. Оттолкнулся, покатил по ледяной дорожке. У качелей спешился, подошел к любимой яблоне. Погладил ее. Спросил:

— Видела? Они обыскивали дом, пугали, хотели, чтобы я сдался, все рассказал. А сдаться — значит предать Людку, друзей.

«Нет ничего

Они вошли без стука. Да и чего стучать: дверь-то распахнута. Когда бабушка готовила, она ее открывала. В доме не было сеней или прихожей, и со двора гости сразу попадали на кухню.

Не подал голоса из будки и белый в рыжие крапинки Тузик, малолетний представитель отважной дворняжьей породы. Почувствовал: на этих гостей лучше не лаять и смелость свою не показывать. Они — в сапогах. А как больно впивается в тело сапог, Тузик знал не понаслышке. Не так давно испытал на себе. Обследовал находившуюся сразу за их Козыревским поселком железнодорожную станцию «Минск-Южный» и наткнулся на милиционера — ярого ненавистника всякой четвероногой живности. Тут же получил левой толчковой. Отлетел метра на три. С тех пор прихрамывает, а при виде сапог начинает дышать часто-часто, как в летнюю жару.

Гости не стучались, но без шума не обошлось: загрохотал, упав со ступенек, деревянный, на колесах-подшипниках Санькин «танк». Так бабушка называла самокат внука, который он сам и смастерил. Санька гордился, что его «колеса» самые быстрые на улице, и иногда выкатывал их из гаража-сарая для прогонки даже зимой.

Первым вошел пожилой, со сплющенным, будто из-под пресса, лицом и густо разросшимися черными бровями, крепко сбитый

мужчина, явно старший и по возрасту, и по званию. Это он отшвырнул «танк» с дороги, бросив:

— Чертовы бульбаши! Заставят вход разным хламом, ноги переломаешь!

Еще с порога он голодным рыскающим взглядом повел в сторону керогаза: что там готовят недобитые буржуи?

Второй — молодой, длинноногий, с гладкими, в светлом пушку щеками — ступил на порог нерешительно: это было его первое боевое крещение. Вот так вламываться в чужие дома ему до сих пор не приходилось — потому и был немного сконфужен, скован. Он, точно пристыженный за плохое поведение школьник, уставился в пол. При этом новый, видимо, только-только полученный казенный темно-зеленый галстук сполз набок, а большие, как у свиньи, уши (была б его воля, он бы, конечно, не стригся так коротко) оттопыривались, словно старались услышать что-то неуловимое. В нем боролись два чувства. Первое — тянуло назад: уйти, убежать, не рыться в чужих вещах, в чужой жизни. Второе — толкало в спину: не робей, действуй. Это же семья врага народа! А ведь и сыновей в расход пустили, и хозяина на каторгу упекли, а что это дало? Старая карга живет себе, внука растит и еще неизвестно чему учит. Хорошо, хоть народ не спит, бдит, пишет. На днях неизвестный товарищ доложил: шикуют по чьей-то доброй милости недобитые националисты.

Старший сощурился в темной безоконной кухне:

— Ты, хозяйка, не зыркай исподлобья. Мы же не бандиты с большой дороги. Сама все знаешь, не впервой проверяем. Так что шевелись, показывай, чего припрятала, пока советская власть на какое-то время про твою семейку забыла.

Худая, с выдававшими былую красоту большими серо-голубыми глазами, с побитыми сединой, собранными сзади прозрачным широким гребнем волосами старуха, глядя не на гостей, а как бы в никуда, тихо произнесла:

— Дверь открыта, проходите, ищите, если что потеряли...

— Ты пропаганду не разводи! Смотри, договоришься! — перебил ее, продолжая тыкать, старший. — И в дом веди, не стой, как вкопанная!

Хозяйка отступила в сторону, и гости (младший чуть поколебался, вытер о галифе вдруг вспотевшие ладони, был, видно, и в самом деле ошарашен столь неуважительным обращением со старой женщиной) прошли в узкий коридор, а из него — в комнату, служившую одновременно и спальней, и гостиной.

— Неплохо живем, — прокомментировал старший, окинув комнату взглядом. — А икона какая! Это сколько ж такое чудо стоит? Не молчи, хозяйка, к тебе обращаюсь. Золоченая, видно, вещица, на сотни, а то и на всю тысячу потянет? — впившись взглядом в позолоту волос Божьей Матери, размышлял вслух старший.

— Для меня ей цены нет, — прервала его подсчеты хозяйка. — От отца осталась.

— Ты нам мозги не пудри! — загорячился было любитель антиквариата, но, увидев, что старуха решительно шагнула к иконе, словно готовясь ее защищать, отступил. — Э-э… С Божьей Матерью можно и потом разобраться. Вон в углу, — подсказал молодому, — гора тряпья свалена. Может, под ней что интересное лежит. Повороши змеиный клубок, привыкай.

«Безымянные, — подумала хозяйка. — Как и тогда, когда мужа, а следом сына брали: боятся назвать друг друга по имени».

Младший подошел к тряпкам. Ступил на доски, под которыми хозяин еще в двадцатые оборудовал тайник. Тогда в нем спрятали небольшую, но действительно ценную икону — подарок вовремя сбежавшей от большевиков польской родни (увеличенная копия ее висела теперь на стене). Позже в тайнике нашел прибежище самодельный всеволновой радиоприемник, настраивавшийся, как правило, на нестандартные девятнадцать метров радио «Свобода». Довоенные и даже дореволюционные книги, несколько чудом не конфискованных («забылись» на момент обыска у соседей) журналов «Маладняк», «Полымя», «Узвышша», «Наш край», семейные и другие фотографии. Некоторые из них отнюдь не предназначались для чужих глаз. Так, на одной хозяин был снят в компании пятерых участников I Всебелорусского конгресса — Аляксандра Вазілы, Міхаіла Гольмана, Ігната Дварчаніна, Язэпа Мамонькі, Кастуся Езавітава. Сфотографировались у здания театра, в котором проходил конгресс. Первых четверых арестовали через день, пятого схватили позже. На другой фотографии старший сын хозяина и Янка Купала сидят за шахматной доской-столиком, а за игрой наблюдают друзья-болельщики, в недалеком будущем — враги народа, поэты Міхась Чарот, Алесь Дудар, Уладзімір Хадыка, Васіль Каваль.

Младший какое-то время медлил, не решался трогать чужую одежду — старые пальто, поддевки, которые спасали бабушку с внуком, когда на дворе лютовал мороз или вьюжила метелица. Но мешкал недолго: превозмог себя, проглотил подкативший было к горлу ком — протянул руку к горе тряпок. Однако брал осторожно, словно боялся: а вдруг там и впрямь затаилась какая змея или крыса?

Невзначай поймал взгляд старшего, сообразил: надо действовать смелее, активнее, более решительно — и разбросал одежду по полу. Присмотрелся к доскам, на которых только что лежали тряпки. Не заметив ничего подозрительного, отступил, и тайник снова оказался у него под ногами.

«Хорошо стоит, — тянул голову из-под бабушкиного локтя Санька. — Пусть бы так и стоял…»

Но ученик был парень молодой, энергичный, к тому же он все для себя уже решил, сделал свой выбор — шагнул к окну, к Санькиной кровати, довоенной, еще нэповской.

Спинки кровати украшали блестящие хромированные шарики размером с небольшое яблоко. В левой — ближе к окну — стойке Санька сделал свой тайник. Там он хранил нательный крестик, дюжину польских и немецких монет, восемь царских бумажных рублей, кокарду от полевой офицерской фуражки начала века, детский браслетик, ювелирно собранный из кусочков дерева и белого металла безвестным тюремным умельцем, другом и единомышленником деда (на внутренней стороне браслета было выгравировано: «Жыве Беларусь!»). Но самым опасным из спрятанного в тайнике Санька считал свернутый в трубку листок бумаги с клятвой, под которой они с друзьями подписались.

«Мы, Пионеры Советского союза (так, «Пионеры» с большой, а «союз» с маленькой, осознанно написал Санька) — А., Т., С. и Л. — создаем тайное общество, задачей которого является конструирование минивертолета для путешествий по земному шару и ознакомление с жизнью других народов… Клянемся…»

А. — это Александр — сам Санька, руководитель организации.

Т. — Тимка, сосед из дома напротив, заместитель по хозчасти. В сарае, стоявшем в глубине их сада, было бережно сложено множество различных дощечек и брусков, два-три фанерных щита, алюминиевые трубки разной длины и диаметра, железные уголки, другие нужные вещи — отец Тимки был известный в округе мастеровой.

С. — их друг Сергей, он жил в Мурманске, но все лето проводил с командой на «железке»; он был сыном известного полярного летчика и потому отвечал за проектирование «объекта».

Л. — Людка — самая красивая на их улице девчонка, Санькина первая любовь. А плюс ко всему активная поборница справедливости. Когда случайно она оказалась свидетелем расправы над Тузикам, то побожилась отомстить вышеупомянутому ненавистнику четвероногих. И отомстила. Милиционер ходил на работу мимо ее дома. В пустую

обувную коробку Людка вложила кирпич. Милиционер был большим любителем по-футбольному помахать ногами и заехал сапогом по валявшейся на тропе коробке. Ох и орал же бугай в милицейской форме! До станции хромал, захлебываясь матом. «Это тебе за Тузика!» — приговаривала, грозя кулачком ему вслед, Людка.

«Ужас!» — содрогнулся Санька, припомнив текст клятвы, но как отвести след, сообразил мгновенно.

— Здесь сплю я, — подошел к кровати. — А эту подушку бабушка мне недавно подарила на день рождения, — подсказал проверяльщикам «нужное направление».

— А-га-а! — затянули гости дуэтом, заглотнув наживку. — Подушка что надо!

— Ну и как? — подмигнул Саньке приободрившийся младший. — Не жестко спится на обновке? Что-то очень уж она плотная.

Он подбросил подушку, поймал, покрутил так и этак, сдавил, ощупал со всех сторон. Не обнаружив ничего подозрительного, бросил на пол, взялся за матрас. Не найдя компромата и в нем, пожал плечами и обернулся к старшему:

— Ничего. Подушка как подушка, и в матрасе одна солома.

— Ищи-ищи! — приказал тот. — Не верю, чтобы в логове белогвардейского офицера ничего ценного не нашлось! Чую, прячут крамолу. Смотри, как подозрительно у малого глазенки бегают.

Хороший был нюх у старшего, собачий. Он, наверное, часто находил то, что искал. Вдобавок и наблюдательный: Санькину нервозность вмиг усек. Но в этот раз зря он полез в комод с бельем. И заулыбался, обрадовался рано: мол, вот где припрятано золотишко! А между тем большевики на совесть вычистили дом еще в двадцатом, даже обручальное кольцо у хозяйки с пальца сорвали.

— Первая полка — не показатель, — комментировал свои поиски в комоде, обучая заодно жизни коллегу-новичка. — Вторая... Вторая — тож-же. А вот и находка! — вынул, радостный, несколько дедушкиных писем, присланных из Сибири. — Я знал, что в этом доме если не драгоценности, то уж «политика» точно найдется! Уже теплее. Письма — в папку. С ними потом разберемся. Пошли дальше. Комод — пустой... Теперь — сервант. Рухлядь — старая, возможно, с секретами. Подсоби-ка, — позвал напарника. — Отодвинем... Заднюю стенку вроде не трогали. А что в ящиках? Вилки, ложки... А вверху? Чашки, подстаканники. Серебряные есть? Не молчи, старуха, к тебе обращаются! — повысил голос. — Откуда? Ты мне вопросов не задавай. Ишь, осмелела! Забыла, как... — хотел освежить ее память, но, посмотрев на помощника, передумал. — Я с тобой позже

разберусь! В другом месте… Ладно, а что тут? Тарелки? И все? — резко повернулся к напарнику. — Черт бы их побрал! — Но не остановился, стал осматривать комнату. — А ну-ка пройдись, а я послушаю. Может, какая половица про эту семейку чего расскажет.

Насчет половицы он правильно сообразил. Но, когда его ученик наступал на «нужные», те не скрипели: ходил-то он не по голым доскам, а по разбросанной по всему дому одежде.

«На место вещи нужно класть», — посоветовал ему Санька про себя.

Длинноногий обтопал весь пол — доски молчали.

— Некогда, еще два дома впереди, — заторопился старший, посмотрев на часы. — Жаль, стены не простучали, хотя обои, кажется, не менялись. И полы вскрыть не помешало бы, да время поджимает. Ничего, не в последний раз.

Гости вернулись в узкий коридор, прошли в прихожую-кухню. Керогаз не горел. Старший, недовольный результатом обыска, уходя, решил еще раз задеть старуху:

— Вижу, хозяйка не приглашает гостей к столу? Мы к ней по-доброму, по-человечески, а она, значит, вот так. Ясно! Горбатую могила исправит.

Бабушка молчала. Санька хотел было ответить за нее, хорошо ответить, да заодно спросить и о письмах деда, но она прижала его голову к себе.

Гости направились к калитке. Вид у них был озабоченный, но не разочарованный: может, в других домах что ценное сыщется?

Бабушка присела на табурет у порога, тяжело задышала. Санька знал, что последует дальше. Она погладит его, скажет: «Сходи, внучек, в сад, погуляй». А сама зарыдает, начнет стонать, стучать маленькими сухими кулачками себя по коленям и потом долго-долго будет что-то шептать, приговаривать.

Так и случилось.

Санька вышел во двор, поднял самокат. Оттолкнулся, покатил по ледяной дорожке. У качелей спешился, подошел к любимой яблоне. Погладил ее. Спросил:

— Видела? Они обыскивали дом, пугали, хотели, чтобы я сдался, все рассказал. А сдаться — значит предать Людку, друзей.

«Нет ничего хуже предательства», — вспомнил бабушкины слова.

— Не дождутся! — заверил яблоню.

Подбежал Тузик, потерся, просил пожалеть его. Санька погладил друга: «Ничего, отобьемся». Осмотрелся. День был прекрасен: снег, легкий морозец, прохладное, но яркое солнце. Слепленная накануне

снежная баба заговорщицки подмигнула ему: не робей, это ведь наш сад, мы здесь хозяева.

До Нового года оставалась уйма времени — весь вечер. Они еще успеют нарядить елку. Украшения приготовили заранее: всю последнюю неделю клеили из бумаги разных животных, птиц, рыбок, гномиков, вырезали снежинки. Все раскрасили. Даже Деда Мороза бабушка сшила.

— Все будет хорошо, — прошептал Санька то ли себе, то ли яблоне, чувствуя, как холод заставляет его дрожать, как начинает трепетать и колотиться его худое тело, как злой мороз сжимает ледяными пальцами сердце.

Тогда Санька не понимал, что это был не холод, а страх.

«Страх хуже предательства», — вспомнил бабушкины слова.

— Не дождутся! — заверил яблоню.

Подбежал Тузик, потерся, просил пожалеть его. Санька погладил друга: «Ничего, отобьемся». Осмотрелся. День был прекрасен: снег, легкий морозец, прохладное, но яркое солнце. Слепленная накануне снежная баба заговорщицки подмигнула ему: не робей, это ведь наш сад, мы здесь хозяева.

До Нового года оставалась уйма времени — весь вечер. Они еще успеют нарядить елку. Украшения приготовили заранее: всю последнюю неделю клеили из бумаги разных животных, птиц, рыбок, гномиков, вырезали снежинки. Все раскрасили. Даже Деда Мороза бабушка сшила.

— Все будет хорошо, — прошептал Санька то ли себе, то ли яблоне, чувствуя, как холод заставляет его дрожать, как начинает трепетать и колотиться его худое тело, как злой мороз сжимает ледяными пальцами сердце.

Тогда Санька не понимал, что это был не холод, а страх.

Отец и сын

Он взял сына на руки и остановил такси. Безрассудство, конечно же, да чего уж там! За годы, проведенные в лагере, получил кое-какую компенсацию — должно хватить, чтобы прожить на воле беззаботно… один день. Этот день наступил сегодня — день рождения сына. Так и сказал таксисту:

— У нас с мальчонкой праздник. Будем кутить. И ты с нами. Допоздна. Идет?

— Кутить так кутить, — расцвел тот, — какие вопросы.

Вернулся отец накануне. Одному Богу известно, чего ему стоило попасть домой именно к этому дню. И теперь, вконец измученный, рядом с сыном он мало-помалу отходил.

Они сидели на заднем сиденье. В какой-то момент отец наклонился, тихо сказал:

— Валик, маленький мой спаситель, как я счастлив, что вижу тебя.

Сын не понимал, каким образом он попал в спасители, но чувствовал себя на седьмом небе: папка вернулся! Он не знал и не мог знать, что во время предварительного следствия во внутренней тюрьме НКВД двое нелюдей истязали отца. Им была поставлена задача: «Отбить нацдему мозги, чтобы родную мать не узнал!» И те постарались. Многочисленные кровоизлияния затопили память, и если бы не отбывавший срок вместе с отцом арестованный по делу врачей известный ленинградский хирург, вряд ли отец узнал бы кого-нибудь, вряд ли вообще вернулся из лагеря. Хирург оказался и неплохим психологом: опекая отца, он без устали повторял: «Не забывайте — вас ждут дома». Эта мобилизационная терапия помогла.

— Папка, на перекрестке давай повернем направо, там, на углу, тир, — тронул сын отца за плечо.

— Останови-ка, браток, — сказал отец, и таксист притормозил у небольшого, похожего на гараж здания. — И обожди.

Сыну не терпелось пострелять из «почти настоящей винтовки». Он первым выскочил из машины и вбежал в открытую нараспашку дверь.

— Рад вас видеть, молодые люди, — приветствовал их пожилой человек с костылем вместо левой ноги. — Меня зовут Анатолий Степанович. А вы можете не представляться. И так вижу: отец с сыном прогуляться выбрались. Какие винтовки выберете? «Под обрез» или «по центру»? Советую «под обрез». Они лучше пристреляны.

— Что ж, — улыбнулся отец, — несите пристрелянные. И сыну, если можно, подставку по росту подберите.

— Все сделаем, не беспокойтесь. Вот ваше оружие. А пулек-то сколько насыпать?

— Пап, может, побольше возьмем? Хочется и мельницу запустить, и танк подбить, и корабль, и в самолет попасть. В самолет труднее всего. Как-то пробовал — ничего не получилось. Видишь, какая маленькая под ним точечка? Сбить самолет — моя мечта!

— Это не мечта, сынок, это скорее задача. Мечта — это нечто другое. Например, я мечтаю, чтобы ты вырос настоящим человеком. Смелым, честным, добрым. Чтобы не забывал, где родился. А пулек мы купим сколько захочешь. И не спеши, хорошенько целься. Но дай Бог, чтобы эти упражнения тебе не понадобились, — добавил тише.

Валик услышал, но не воспринял последних слов отца. Воспринял другое: «хорошенько целься». Тут он постарается, не ударит перед папкой лицом в грязь. Целился не спеша, затаив дыхание. И у него, на удивление, почти все получилось.

— Ну вы, ребята, даете! — ахал Анатолий Степанович. — Все посбивали. Даже не помню, когда в моем тире такое случалось в последний раз. План по продаже пулек выполнили. Может, чем черт не шутит, по второму кругу пройдетесь?

— Нет, — покачал головой отец. — По кругу — не надо. Круг — это кольцо, цепь, безысходность. Посему только вперед! Спасибо вам за все, но — поедем дальше. Да, Валик?

— Конечно, папка! — кивнул сын и с гордостью подумал: «А самолет я все-таки сбил!»

— Заходите еще! Хорошим людям всегда рады, — попрощался Анатолий Степанович, вышедший проводить их к машине.

— Куда теперь, господа снайперы? — спросил таксист, открывая дверцу.

— А давай, папка, в парк махнем, — предложил Валик. — Ребята рассказывали — там новые аттракционы установили.

— Желание именинника — закон! — улыбнулся отец. — Трогай, друг.

— Нет проблем. Долетим за десяток минут, — заверил таксист.

Но отец охладил его пыл:

— Гнать не надо. Я в гонках прожил всю жизнь. Хватит! Езжай потихоньку.

— Как прикажете, — пожал плечами таксист и подчеркнуто мягко тронулся с места.

Праздничная обстановка парка захватила сына. Он перебегал от одного аттракциона к другому и просто закидывал отца вопросами:

— Папка, а здесь покатаемся? А на тот билеты возьмем? А туда успеем? А там не закроется?

Отец счастливо кивал головою:

— Успеем! Не закроется!

На «чертовом колесе» Валик задержался надолго.

— Понравилось на город с высоты смотреть? — поинтересовался отец, когда по просьбе сына они вознеслись под небо в третий раз.

— Очень! — заверил сын. Но неожиданно признался: — Я, папка, высоты боюсь, но с тобой мне ничего не страшно! Вот и воспитываю себя.

— Ты у меня — молодец! — обнял его отец. — Теперь мы вместе, а вместе мы — сила, и тебе нечего бояться.

Долго катались на разных крутилках, машинках, паровозиках и лодочках, а напоследок сын снова потянул отца к «чертову колесу».

— Папка, давай еще разок. Хочу убедиться, что теперь точно не испугаюсь.

— Давай! — удивился отец упорству сына, но, вспомнив, что и сам был таким же, с улыбкой подумал: «Может, потому и выжил».

Вдоволь накружившись — у Валика уже ноги подкашивались, — решили передохнуть и перекусить.

В ресторан пошли втроем — позвали и водителя. Толкнули дверь — заперто: до шести вечера там был перерыв, но таксист поговорил со швейцаром, и их впустили, с ходу подали на стол.

Отец ел осторожно, как бы с недоверием: отвык от нормальной пищи. Там, в сибирских лагерях, она и не снилась, и постепенно память сдавала: забывался вкус белого хлеба, запах жареного мяса, аромат спелого яблока.

Таксист же уплетал, словно перед этим неделю постился. Не отставал от него и Валик.

— Папка, я после мороженого не встану. Давай возьмем его с собой?

— С собой захватим мандарины, а мороженое можешь не доедать. Много сладкого — вредно.

Следующую остановку подсказал вошедший во вкус водитель:

— Жена на днях в «Детском мире» побывала. Говорит, туда импортные игрушки завезли: «Красивые — слов нет. Но дорогущие…»

— Ничего, прорвемся, — погладил отец сына по голове, видя, как загорелись у того глаза. — Один раз живем. Едем!

Под заморские игрушки в магазине отвели отдельную секцию.

— Ух ты! — восхищался сын, оглядывая полки. — Видишь, папка, сколько всего?!

— Не теряй времени, выбирай что нравится, — улыбнулся отец.

А Валик не может выбрать — растерялся. То к одному потянется, то к другому. Пришлось отцу прийти ему на помощь.

— Ты ведь уже не маленький, что-нибудь соответствующее и присматривай.

Сияющим выходил Валик из «Детского мира». О таких игрушках и мечтать не смел и теперь даже на секунду боялся с ними расстаться — а ну как оборвется этот волшебный сон? — и нес все покупки сам.

— Надорвешься ведь. Давай хоть что-нибудь возьму, — шел отец следом.

— Не волнуйся, папка, — отвечал солидно Валик. — Я сильный.

Водитель встретил их веселым «О-го-го!».

— Складывай свои покупки, — открыл перед Валиком дверцу. — Эх, мне бы такого папку!

— Такой только у меня, — похвастался Валик.

Отец взял у него громадную, из коричневого велюра обезьяну, ярко-красную — в жизни таких не встречал — «Татру» с прицепом, комплект китайских ракеток для бадминтона и настольного тенниса, еще не накачанный футбольный мяч. Занял ими правую часть заднего сиденья. Сам сел впереди. Спохватился, спросил у таксиста:

— У тебя-то дети есть?

— Двое. Погодки. Такие же архаровцы, как и твой.

— Валик, — обратился отец к сыну, — неужто оставим архаровцев без подарка? Скажи честно: чего не жалко?

Жаль было всего, но еще больше хотелось походить на папку.

— Может, ракетки эти? Пусть играют.

Таксист стал было отнекиваться, но отец и слушать не захотел:

— Раз мы с Валиком решили, то назад ходу нет, закрыт вопрос. А теперь разворачивайся — поедем на улицу Маяковского. Сразу за рынком — знаешь? — баня. Там и притормозишь. — Обернувшись к сыну, пояснил: — Святое для нас с тобой место. Еще до войны мой отец — твой дед — водил в эту баню меня с братьями.

Баня для мужчин — это прежде всего парилка. И они, оба мужика — большой и маленький, вскоре оказались в ней. Несмотря на подорванное в лагере здоровье, парился отец яростно, как в последний раз, чем заводил других посетителей: они чуть ли не в очередь выстроились за вениками.

— А сынишка весь в папку, — подзадоривал банщик отца, звеня в жестяной банке влажными медяками. — Глаза большие, синие, нос орлиный…

И было ему невдомек, отчего после его слов этот «азартный папаша» вдруг перестал улыбаться, нахмурился. А тот думал: «Не все ты, браток, знаешь. Не дай Бог мальцу повторить мою жизнь: лагеря, этапы…»

После бани отец попросил таксиста отвезти их на Военное кладбище. Сыну объяснил:

— Поедем к деду, навестим.

На этом кладбище Валька еще не бывал. Взяв сына за руку, отец повел его среди крестов и памятников в дальний закуток. Там, стоя над холмиком с железным крестом у изголовья, он, словно позабыв о разнице в возрасте, рассказывал сыну про деда, который, оказывается, был делегатом Первого Всебелорусского съезда.

Валик удивленно поднял на отца глаза:

— Какого-такого съезда?

И отец продолжил:

— Тогда упустили долгожданный и, может быть, единственный для нашей страны шанс стать свободной, — пояснил Валику, хотя тот по-прежнему плохо понимал, о чем шла речь.

Рассказал отец и о том, что дед их был одним из руководителей подпольной церковной антибольшевистской организации, действовавшей в Минске в середине тридцатых годов.

— Антибольшевистской — это против большевиков, папка, коммунистов? Разве были такие организации?

— Организации в полном смысле слова не было, — серьезно, словно для самого себя что-то уточняя, объяснял отец, — но предпринимать кое-что люди пытались. За это потом и пострадали. Был такой процесс — «Двадцати пяти». На нем судили и твоего деда. Вообще он слыл удивительным человеком. Вернувшись из лагеря, вынужденный периодически отмечаться в милиции, продолжал слушать запрещенное радио «Свобода».

— А я помню, как дедушка настраивал приемник, — оживился Валик. — Звук был тихий-тихий, и я почти ничего не разбирал. Он и в шахматы, и в шашки научил меня играть. И рисовать. А еще он любил читать стихи Лермонтова. Помнил их со школы. Представляешь, папка, — со школы! Я забываю стихи через неделю, а дедушка помнил всю жизнь! Как сейчас слышу его голос:

Белеет парус одинокой
В тумане моря голубом!..

Что ищет он в стране далекой?
Что кинул он в краю родном?..

— Да, дед был добротной закваски, дореволюционной, — поддержал Валика отец. — А насчет памяти ты не волнуйся. Разовьется память. Это я тебе точно говорю. Главное — больше читай, думай, анализируй. И спортом занимайся. У тебя должно быть сильное, выносливое тело. Слабые телом нередко и духом слабы. Впрочем, бывают и исключения… — После небольшой паузы добавил: — Пошли, что-то трудно мне здесь дышится.

Отцу и впрямь было плохо. Снова нахлынули отчаяние, нежелание жить. Пытаясь совладать с собой, у машины он вдруг предложил:

— Едем в дом-музей Янки Купалы.

Но в музей почему-то не пошел, бродил по парку, о чем-то думал. Валик держался рядом. Когда подошли к мосту через Свислочь, отец остановился.

— На той стороне улицы, вон там, напротив, много лет назад стояло общежитие педагогического техникума, — повернулся к сыну. — Необычное, скажу тебе, было учебное заведение. Преподаватели ни в чем не уступали профессорам из университета. Собственно, они и были университетскими профессорами. Здесь учились и мои братья — твои дяди. Учились и многие белорусские писатели. Большинство из них впоследствии были расстреляны, в живых остались единицы. В школе ты будешь изучать их творчество. Из десяти сотрудников газеты, в которой брат тогда числился рабкором, девять арестовали и вскоре, осудив, убили. Но одного не тронули, даже наоборот — ему поручили ответственное задание: набрать новый штат редакции и возглавить его. Похожее происходило почти во всех изданиях: оставляли, как на развод, одного-двоих. Теперь они заслуженные люди, лауреаты. Но хватит о плохом, — заключил отец, возвращаясь к машине. — Есть предложение. Отсюда уже недалеко до озера, — показал рукой. — Как ты насчет поплавать?

— Папка, ты же знаешь, купаться я всегда готов!

«Знаешь…» Он опять, как и от слов банщика, вздрогнул. Откуда ему было об этом знать? Как раз когда мало-мальски наладилось с перепиской, пришла весть, что в их большом доме мальчишка остался один: холодным декабрьским утром туберкулез свел в могилу мать, вскоре после нервного срыва слегла бабушка. Шефство над ними взяла соседка с мужем.

Сел, тронул водителя за локоть:

— Поехали, друг. Напоследок — к озеру.

Озеро встретило их прохладой и свежестью. Сразу как-то легче задышалось.

Отец разделся, вошел в воду, поплыл. Обернулся к берегу, крикнул:

— Валик, не заходи — вода холодная. Лучше в бассейн съездим — там искупаешься.

Последний раз отец плавал много лет назад, однако понимал: в такой воде не только у сына, но и у него в любую минуту могут начаться судороги. И все же не сдержался: он снова здесь, в озере своего детства. Когда-то вместе с братьями плавали в нем наперегонки. Он был самым младшим и на финише оказывался, само собою, всегда последним. Но не сдавался — упорства ему было не занимать. И однажды чуть не настиг братьев, но… в последний момент ноги отказали. Братья пришли на помощь.

И вот — у него снова отнялись ноги. Как предчувствовал. Перевернулся на спину, но — попал в водоворот. Железной хваткой тот обнял его и тащил ко дну. Он изо всех сил заработал руками, нырнул, вынырнул, еще нырнул…

Валик почуял неладное: «Зачем так далеко заплыл папка? Его уже не видно». Валик плохо плавал, еще только учился, но, не раздумывая, бросился в воду.

— Папка, папка! — кричал. — Вернись! Я боюсь!

Голос сына утроил силы отца.

«Выплыть! — приказал себе и снова нырнул. — Выплыть! — кричало все в нем. — Я должен вырваться из этой петли!»

Отчаянно замахал руками. И вдруг ощутил — водоворот ослабляет хватку, и ноги вроде как возвращаются к жизни. И все же не столько ноги, сколько руки, многие годы валившие лес, спасли его. И он поплыл к сыну.

— Валя, назад, назад! — кричал ему.

И сын послушался, остановился, но к берегу не повернул — не мог, ослабел.

Подхватил его отец уже захлебнувшегося.

Валика откачали, но отходил он медленно. Пять дней и ночей маленькие руки крепко сжимали подушку — держались за папку.

Бабуля сидела на краю постели.

— Вот молодец! — обрадовалась, когда он открыл глаза. — Как ты, маленький?

Валик не ответил. Увидел висящую на противоположной стене фотографию отца в деревянной рамке. Угол рамки почему-то был перевязан черной ленточкой.

Он еще не понимал, что это означает, и с недоумением посмотрел на бабушку. Но та ничего не сказала.

Пройдет много лет, прежде чем Валик узнает: человек, которого он называл папкой, был его дядей — младшим братом отца, расстрелянного через два месяца после рождения сына.

И еще одна тайна откроется ему: данную в лагере землякам-узникам клятву — отомстить палачу — брат отца сдержал. Дорогой оказалась месть: чтобы не сдаваться живым, дядя покончил с собой. Это произошло на третий день после его возвращения из лагеря.

Три дня пробыл он на свободе. Три дня. Один из них был посвящен племяннику. И Валик не забудет тот день никогда.

Две копейки

— Здравствуйте, ребята, — по-всегдашнему медленно, четко выговаривая каждое слово, но на этот раз вроде бы как с издевкой поздоровалась учительница. — Сегодня понедельник, первый день недели. Мы хорошо отдохнули и с новыми силами начнем учебу. Но начнем, к сожалению, с разбора чрезвычайного происшествия, случившегося в субботу.

4 «Б» насторожился. А учительница, выдержав паузу, продолжила:

— Вы хотите знать, что за ЧП? А пусть об этом расскажет сам герой — в кавычках, конечно же. Он среди вас. Хочу его предупредить: нам известно все! Надеюсь, он еще не до конца потерял совесть и у него хватит смелости, честности и порядочности выйти сюда, к доске, и рассказать своим товарищам о том, что его толкнуло совершить столь отвратительный, позорящий класс, школу поступок.

Ученики замерли от столь необычного начала урока. Сжался и светловолосый, большеглазый, тихий, с девичьим лицом хорошист Леша Марочкин. «Наверное, кто-то баловался со спичками и поджег дом? — предположил. — Нет, видно, произошло что-то более страшное. Может, в горящем доме остались люди? — гадал Леша, глядя на учительницу. — Вон как она переживает, трясется вся».

— Мы ждем! — сорвалась на крик учительница. — Ждем ровно одну минуту! — подняла указательный палец. — Если тот, кто это учинил, не встанет и не расскажет все сам, как и должен поступить настоящий советский школьник и пионер, пусть не обижается. Время пошло!

Ребята оглядывались, вертели головами. Вертел головой и Леша: «Кто же этот преступник? Кто? Что за враг затаился среди нас?» Но никто из-за парты не встал, не вышел к доске.

— Минута истекла! — объявила учительница. — Я предупреждала. Теперь пусть наглец пощады не ждет. — Она вдруг хлопнула рукой по столу и заорала: — Марочкин, встань! Подними голову! Смотри мне в глаза! У тебя совесть есть?! Да как ты мог! Как ты, ученик лучшего в школе по всем показателям класса, мог совершить такой омерзительный, скажу больше — ужасный поступок?!

Сначала Леша ничего не понял. При чем здесь он? За что на него кричат? В чем он провинился, что такое страшное совершил? Но вдруг его пронзило. Он вспомнил. Вспомнил, что произошло с ним в субботу.

«Да-а, — опустил Леша голову, — я виноват. А всё эти фотографии… Но откуда узнала учительница? Ведь та тетя сказала, что во всем разобралась и никому ничего сообщать не будет. Кто же доложил классной?»

Память услужливо вернула его на два дня назад, в субботу. Утро начиналось лучше некуда. Мама, уходя на работу, оставила Леше, как и обещала, шестьдесят шесть копеек. Двадцать пять — на проявитель для фотобумаги, тридцать — на фиксаж и одиннадцать — на его любимый гематоген. Леша где-то слышал, что гематоген увеличивает запас крови в организме, и если он будет, допустим, ранен, то с таким запасом дольше продержится. Он не представлял, где его могут ранить, но почему-то думал, что когда-нибудь это непременно случится.

Пленку проявил несколько дней назад. Три большие пачки фотобумаги прислал на день рождения из Мурманска двоюродный брат Серега. Оставалось приобрести химикаты для печатания снимков. По дороге в «Культтовары», где был отдел фототоваров, Леша зашел в аптеку, купил батончик гематогена и двинулся дальше.

В магазине осмотрел полки фотоуголка: есть и проявитель, и фиксаж. Взял по пакетику того и другого. «Стоп, что это? — взгляд споткнулся о новую цифру на ценнике фиксажа. — Почему тридцать две копейки? Он же стоил тридцать. Тридцать! Я точно помню».

— Тетенька, — обратился Леша к стоявшей на зале продавщице, — а почему фиксаж подорожал?

— В нашей стране никогда ничего не дорожает, — подошла к нему продавщица. — Ты брось всякие глупости говорить, — взяла в руки упаковку фиксажа. Повертела, перевернула, глянула на обратную сторону. — Ясно. За тридцать был российский, а этот из Азербайджана, — бросила пакетик на полку. Вернулась к выходу из зала и стала в проходе за кассой.

Магазины самообслуживания только входили в моду, и вместе с ними, как наваждение, появились толстые тетки-контролерши, проверявшие покупателей на выходе. Тут же, у кассы, они бесцеремонно обыскивали их.

Оказаться подозрительным и подвергнуться обыску мог любой. И этот любой, пока тетка ощупывала его карманы, стоял и, опустив голову, молчал. Впрочем, не высовываться, не поднимать голову его приучила жизнь.

Так теперь стоял и Леша. На секунду он очнулся, начал что-то говорить, но увидел разинутый в крике рот учительницы и с испугу снова онемел, отстранился от класса, вспоминал…

Он тогда долго, как неприкаянный, ходил по магазину. Думал: «Что делать? Вот уж не повезло так не повезло! Знал бы, что фиксаж подорожает, обошелся бы и без гематогена. Хотел же сначала купить глюкозу за шесть копеек. Осталось бы еще на газировку с сиропом, и сохранились бы так нужные теперь две копейки. Что же делать? Он дома и окошко в ванной завесил, и три ванночки для проявителя, фиксажа и воды приготовил. И старую чертежную доску на ванну положил: Павел Иванович, сосед-пенсионер, подсказал, как оборудовать временную фотолабораторию. «Без закрепителя, — говорил Павел Иванович, — не обойтись: фотографии пожелтеют». А-а, придумал! – обрадовался Леша. — У меня же есть гематоген! Хорошо, что я его по дороге не съел. Положу на полку тридцать копеек, а вместо недостающих двух оставлю гематоген. Проявитель оплачу в кассе, а фиксаж пронесу так, не показывая. Если увидят, скажу, что вместо двух копеек оставил гематоген за одиннадцать».

Леша не спрятал фиксаж за пазуху, как это сделал бы любой воришка, а положил в нагрудный карман рубашки. Он не знал, что сквозь тонкую хлопковую ткань пакетик не только виден, но даже читается его название.

Кассирша посмотрела на Лешу, все поняла и хотела было спросить: «Что у тебя там, признавайся?» — но передумала. «Интересно, — решила проверить, — эта экс-спортсменка, медведь в юбке, Олимпиада Ивановна Баран (придумал же Бог сочетание!) заметит воришку или нет? Если нет, я тут же доложу заведующей, как бдительно Олимпиада несет службу, как лихо ворюг пропускает. Тоже мне, деловая нашлась, работать учит, замечания делает. Я, видите ли, медленно покупателей обслуживаю! Да какое твое собачье дело?! Посидела бы сама целый день на кассе».

Толстая, шире двери, близорукая Олимпиада Ивановна посмотрела на Лешу сверху вниз, ничего подозрительного не обнаружила, и он направился к выходу. Шел не спеша, чтобы не выдать себя.

«Ага, Бараниха, — обрадовалась кассирша, — вот и пропустила-таки похитителя. Недоглядела».

— Держите вора! — вскочила со стула, побежала к двери и перегородила Леше дорогу. — Сознавайся, — ткнула острым кулачком мальчика в грудь, — что украл?

— Больно… — промямлил Леша, невольно делая шаг назад. «Иначе и не могло закончиться, — опустил голову. — Зло должно быть наказано. А я совершил зло».

— Больно, видите ли, ему! Ох, какие мы нежные! Потерпишь! — прикрикнула кассирша. — А ну-ка, покажи, что у тебя в кармане? — снова потянулась ее рука к Леше. — Вот в этом!

— Ф-фиксаж, тетенька, — с испугу заикнулся Леша. — Я за него заплатил. Вместо недостающих двух копеек положил на полку гематоген, а он стоит одиннадцать.

— Какой еще гематоген?! Что ты несешь! — схватила кассирша Лешу за руку. — Пошли, в другом месте разберемся!

— Он и гематоген где-то украл, — вцепилась Леше в ворот Олимпиада Ивановна. — Держи байстрюка, Верка, крепче держи! Веди к заведующей! И милицию нужно вызвать! Поймали наконец жулика! Это он все лето магазин обворовывал! За него мы свои кровные выкладывали.

Лешу приволокли в кабинет заведующей, но той на месте не оказалось — вышла к подруге в соседний «Овощной».

Прошло пять, потом десять минут, а хозяйка кабинета не возвращалась. Посовещавшись, кассирша и бывшая спортсменка решили вызвать милицию. Ревностная поборница справедливости Олимпиада Ивановна позвонила по «02», и теперь обе молча сидели, стерегли Лешу и ждали подмогу.

Милиция долго не являлась, но к телефону женщины больше не подходили. Они были не против, если ожидание продлится и до обеда: сидеть в кабинете — не трудить ноги в зале.

У Леши потихоньку наворачивались слезы. Он ни разу в жизни не сталкивался с милицией, но почему-то, когда слышал это слово, к горлу подкатывал комок.

Олимпиада Ивановна вышла из кабинета — ее позвали в зал, а кассирша по-прежнему ерзала на стуле. Увидев проходившую мимо уборщицу, позвала:

— Валя, я тут схожу в одно место. Присмотри за этим…

С мокрой тряпкой в одной руке и жестяным ведром в другой в кабинет вошла невысокая, седовласая женщина в стареньком шерстяном платье. Похожее Леша видел на бабушке.

— Ну что, хулиган, попался? — спросила, как бы здороваясь. — Много своровал?

— На две копейки… — покатились у Леши слезы.

При этой, одетой в «бабушкино» платье женщине он почувствовал себя спокойнее, расслабился и заплакал. «При ней можно», — решил.

— Мужчине стыдно реветь, — подошла к нему уборщица. — Не хнычь! Первый раз украл?

— Я не крал — обменял. – Не прекращали литься у Леши слезы. — Вместо двух копеек оставил гематоген.

— Гематоген? — переспросила уборщица. — Вместо двух копеек? Ну ты даешь! — улыбнулась. — Вот так обмен! Да-а. Однако здесь разбираться не станут. Они давно кого-то ловят. Правда, пока кражи были только в школьном отделе: то карандаш исчезнет, то стирка, то тетрадь. Слушай, а давай-ка я тебя отпущу? Из-за двух копеек тебе здесь жизнь могут покалечить. Только ты уж, будь добр, потом какое-то время не ходи сюда, не показывайся.

— Никогда не приду и не покажусь! И фотографировать больше не буду! — снова захныкал Леша.

— Ну ладно, ладно, хватит реветь. Слезами горю не поможешь! Только нервы испортишь, а они, говорят, не восстанавливаются. Лучше дуй вон в ту дверь скорее, — махнула уборщица тряпкой в сторону темного коридора. — Пока никого нет.

Леша перестал плакать. Выпрямил спину. Вытер глаза. Посмотрел на свою спасительницу.

— Сбежать? Никогда! Убегают трусы, — вспомнил слова одного из героев Жюля Верна. — Не хочу быть трусом.

— Ну вот, — развела уборщица руками, — уже идут. Доведет тебя твое упрямство.

Вошел милиционер, и она замолчала. Леша присмотрелся: нет, это не милиционер, это милиционерша, просто лицо у нее какое-то квадратное. Леша уже разбирался в воинских званиях и, взглянув на погоны, определил: тетя — старший лейтенант. Маминого возраста, но мама не толстая.

— Ну, что, попался? — повернулось к Леше квадратное лицо.

— Так я… — хотел объяснить он случившееся, но лицо не дало ему сказать, перебило:

— Пошли! У меня в кабинете поговорим. Там вы все разговорчивее становитесь.

Детская комната милиции находилась через две пятиэтажки от магазина. За недолгую дорогу Леша понял, что не зря у него при слове «милиция» перехватывало дыхание и заплетался язык. Лейтенантша вела его, крепко сдавив руку. Леша терпел боль. Пусть все думают, что идет мама с сыном, а не ворюгу тащат в милицию, в тюрьму сажать.

Кабинет лейтенантши был на первом этаже. Через зарешеченное окно Леша увидел, как невдалеке, на пустыре, ребята гоняют мяч. Он вздохнул: «Скорее бы все кончилось».

— Так, милый, вижу, в футбол захотелось поиграть?! Раньше нужно было думать, раньше! До того, как начал воровать. А теперь тебе будет не до футбола, — пригрозила лейтенантша. — Садись! Страна должна знать своих героев. Поэтому сейчас ты скажешь, как тебя зовут, где живешь, кто родители и в какой школе учишься. — Лейтенантша достала бумагу и авторучку. — Не молчи, рассказывай, не стесняйся. Знаем мы таких стеснительных. В конце концов, признаешься или нет — большого значения не имеет. Рано или поздно мы все равно узнаем. Но лучше сейчас, как на духу, сам все доложи. Тогда, так и быть, отпущу, не вызывая родителей. И в школу сообщать не буду. Сделаю исключение. Ты же вроде первый раз попался?

— Да, — тихо подтвердил Леша и закашлялся. Милиционерша курила, а форточка была закрыта, и у него запершило в горле. Лейтенантша недовольно посмотрела на Лешу, но сигарету затушила.

— Ладно, хватит притворяться, кашель из себя выдавливать, — отошла на шаг от Леши. — Думаешь разжалобить? Не выйдет! Не таких артистов видели! Выкладывай, как и что украл. И не тяни. Если я с каждым воришкой по два часа возиться буду…

Леша, хныча, рассказал все, как было. Про гематоген, химикаты и фотолабораторию. Пообещал, что попросит у мамы две копейки и отнесет в магазин.

— Хорошо, — кивнула лейтенантша. — Будем считать, что рассказал правду. Хотелось бы надеяться, больше в твоей жизни такое не повторится. Напиши вот здесь, где галочка, свою фамилию, и можешь идти домой. И не волнуйся, все останется между нами. Обещаю. А в магазин я позвоню. Чтобы не было к тебе претензий.

— Но… — Леша хотел сказать, что за фиксаж заплатил, а за две недостающие копейки оставил гематоген, какие же к нему могут быть претензии, однако язык не поворачивался. Леша боялся. Боялся прокуренной комнаты, квадратного лица, решеток на окнах.

Выйдя на улицу, сразу же пустился бежать. Изо всех сил, как будто убегал от погони, от страшного серого здания, от себя, от судьбы. Он еще не знал, что это лишь начало, первая, но никак не последняя его встреча с несправедливостью.

Леша долго не мог отомкнуть дверь: дрожали руки. Наконец открыл, вошел в квартиру. Почувствовал, что сильно устал. Мамы еще не было. В ожидании ее прилег на тахту, незаметно уснул.

Мама пришла с работы, посмотрела на спящего сына, осторожно погладила по голове: «Опять в футбол набегался». Раздела, перенесла на кровать, накрыла: «Спи, сынок».

Леше снился футбол. Финал чемпионата Европы. Весь матч он почему-то отбивал без конца назначаемые в его ворота пенальти. Били знаменитые Рива и Ривера, Факетти и Анастази. Били, но забить не смогли. Леша выстоял. Сам Джаич его похвалил.

Так он проспал до утра. Звезды футбола вытеснили страшные события из его сознания. Мозг как бы спасал детскую психику от перегрузок. И Леша совершенно забыл, что произошло в субботу. Начисто. Словно ничего такого и не было.

Теперь он вспомнил! Все вспомнил! Как дорого обошелся ему этот проклятый фиксаж.

— Сейчас мы будем тебя судить! — долетел до Леши голос учительницы. — Ты вор, Марочкин! Самый что ни есть вор! И судить мы тебя будем строгим товарищеским судом. Лучший в школе класс оценит тебя по заслугам. Ты, Леша, потенциальный преступник. У таких только одна дорожка, скользкая — в тюрьму. Легкой жизни захотел?! Я понимаю, украсть — не заработать. Но легкой жизни у тебя не получится! Поверь! Кто выступит первым? Не слышу! Оксаночка? Молодец! Скажи, что ты думаешь о Марочкине!

— Алексей, ты хоть понимаешь, что натворил, какой совершил мерзкий проступок?! — заученно затараторила Оксана. — Ты уворовал у нашего родного социалистического государства. Ты похитил то, что создается самоотверженным трудом советских людей! Ты…

Что говорили дальше Оксана и другие одноклассники, Леша слышал и не слышал – он думал о своем. И в какой-то момент все его мысли сошлись на одном: мост! Недалеко от Дома-музея первого съезда РСДРП, куда их каждый год после летних каникул водили на экскурсию, есть мост. Высокий. Он с него прыгнет. Он не вправе жить! Он — вор! Он хуже всех!

Прозвенел звонок. Классная подвела черту:

— Такому не место в наших рядах! Твое место, Марочкин, в специнтернате для малолетних преступников!

От этих слов у Леши потемнело в глазах. Сам не свой он метнулся к двери. Прошмыгнул коридором. На лестнице оступился, ударился о перила. Было больно, но не закричал, стерпел. Пулей вылетел из школы и понесся прочь. Уже порядком отбежав, осмотрелся: где, в какой стороне Дом-музей, тот мост? Ага, там! И опять помчался, мало что воспринимая, чувствуя, видя.

Он не видел, что загорелся красный, что горит, пылает, кричит красный. Услышал лишь визг тормозов несшегося на него грузовика.

Спасаясь, подпрыгнул, прокатился по его капоту, по лобовому стеклу, снова упал на капот и отлетел в сторону, на газон вдоль дороги.

Леша лежал, смотрел в небо, не дышал. Замер. Боялся. Снова — боялся.

Водитель «ЗИЛа» выскочил из машины, подбежал, ужаснулся:

— Боже мой! — нагнулся к мальчику. — Что же ты под колеса-то прыгаешь?

— Я не хотел, — испуганно пробормотал Леша, — простите.

Шофер осмотрел мальчишку:

— Что болит?

Леша прошептал:

— Голова немножко.

Собирались люди. Леша дрожал. Опять его будут укорять, судить. Напрягся, попытался встать.

— Молодец, парень, — взял его на руки водитель. — Давай я тебе помогу. Хорошо?

— Да, дяденька, — прошептал Леша. — Унесите меня отсюда. Сейчас меня будут судить. Пожалуйста.

Водитель осторожно прижал мальчишку к груди, попросил:

— Расступитесь, товарищи! Дайте пройти! Отвезу мальчика домой! Он мой сосед. Не беспокойтесь, ребенок не травмирован. Обошлось, слава Богу. Дайте же пройти, говорю.

Он осторожно опустил Лешу на сиденье справа от себя, выключил «аварийку», нажал педаль газа, медленно тронулся. Доехав до ближайшего светофора, повернул на свою улицу. «Если что, “скорую” из квартиры вызову», — успокоил себя.

Дома водитель прошел в детскую, положил Лешу на кровать сына:

— Лежи спокойненько. Сейчас принесу лимонад. Любишь «Апельсиновый»?

— Нет, — бредил мальчик. — Я люблю мосты! Мосты!

У Леши было не иначе сотрясение мозга, ему стало хуже, он терял сознание.

Водитель кинулся к телефону.

— Алло! «Скорая»?! — с облегчением — дозвонился с первого раза — вздохнул. — Случилось несчастье! Мальчик попал под машину! Что? Лет десять. Как зовут? Не знаю! Почему не знаю? Да что вы все расспрашиваете, зря время теряете! Срочно приезжайте! Мальчику совсем плохо! Дорога каждая минута!

Было в его голосе, видно, что-то такое, что вынудило дежурную немедленно выслать машину по указанному адресу.

Приехавшие врач и медсестра не стали ждать лифта — взбежали на третий этаж.

— Где больной? — спросил врач. — Там? — показал рукой на открытую дверь в детскую и, не дожидаясь ответа, бросился туда. — Малыш, привет! — он не столько здоровался, сколько проверял, в сознании ли мальчик. — Какие у тебя сильные мышцы! — взял Лешу за руку. — А куда ты так спешил? Ира, пульс низкий! Дай мне, пожалуйста…

В этот момент в квартиру ворвалась жена водителя:

— В школу соседи позвонили. Сказали… Господи, что тут случилось? — вскричала, увидев у постели сына врача и медсестру. Не получив ответа, кинулась к детской. — Сынок! — позвала. Но тут же, не ступив и шагу, упала у двери.

Сердце учительницы, напряженно сражавшееся с утра с упрямым малолетним воришкой, нового напряжения не выдержало.

Качели

Мужественные большевики бегали по площади, разбрасывали листовки. Призывали к свержению, уничтожению, грабежу. Динамик телевизора хрипел и захлебывался. Залп «Авроры» взорвал кинескоп.

Я метнулся к «ящику», выдернул шнур. Довели, доконали, достали, гады, рвущиеся из грязи в князи. Сыт по горло! Вот где сидят со своей агитацией! Что ж, получите! Агитация так агитация!

План, как разбросать, рассеять, распространить (предварительно умудрился напечатать, и это, возможно, заслуживает отдельного повествования) в центре миллионного города кипу листовок с призывами к борьбе с коммунистической диктатурой, к свержению преступного режима и при этом не быть пойманным, я разработал летом 1972 года, когда дочитывал последние страницы девятитомного собрания сочинений Ивана Бунина. И по сей день не очень понимаю (ибо «Окаянных дней» там не было), каким образом навел меня классик на мысли о протесте и преступности дальнейшего молчания. Может, потому он и классик?

Дату для исполнения акции — в годовщину Октября — выбрал не случайную. Хотелось подразнить зверя именно в день его рождения. На крыше ГУМа смастерил сооружение, к которому был неравнодушен с детства, — качели. Обыкновенные: доска на двух железных, параллельно скрепленных треугольниках («позаимствовал» их у ближайшего детского сада, да простят меня малыши, как-никак на святое дело взял). Тяжелые качели пришлось разобрать (благо, они были свинчены, а не сварены) и поднять на крышу по частям. На один конец доски — ближний к краю крыши — положил пачку листовок. Прижал их (а ну как ветром раздует?) четвертинкой кирпича, привязанной к треугольной основе: чтобы ненароком по голове кому не попала и не пришлось отвечать одновременно по нескольким статьям Уголовного кодекса — даже с этим ознакомился на всякий случай. Не забыл и о перчатках: на книгу незапомнившегося француза о дактилоскопии и бельтильонаже напоролся еще за год до того, оказавшись «по случаю» в одной из больниц Гомеля. Когда ближний к краю крыши конец доски пойдет вниз, мой груз повиснет на веревочке, а листовки выпорхнут на свободу. На другом конце — противовес: ведро с водой. Подготовил его загодя: сбоку, чуть выше днища, пробил гвоздем дырочку и заткнул стертым под конус белым ластиком (Made in Hungary, между прочим! — подарок богатой московской тетки). Оставалось дождаться

момента, когда на проспекте будет наибольшее скопление народа, — часа пик.

Минуты ожидания тянулись убийственно долго, но любая мука когда-нибудь кончается. Посмотрев в очередной раз вниз, решил, что большего наплыва людей на перекрестке не будет, и осторожно вынул стирку-затычку.

Тонкой струйкой полилась вода. Скоро ведро начнет подниматься. Заколотилось сердце: пора спасаться! Бросился вниз. «С места исторических событий желательно исчезать как можно быстрее», — вспоминал где-то читанное или слышанное, считая одновременно и ступеньки, и доводы в пользу того, что нужно спешно уносить ноги.

Первый. Если поймают, то никто о герое-одиночке даже не услышит. Останется в неведении о тебе ее величество История. Пребудешь ты в ней темным пятном — вместо того, чтобы предстать жертвой произвола, борцом за святое дело. (Опять их лексика — вот задолбали мозги!) Это — не кино, это — жизнь.

Второй. Будут бить — не сами, конечно, найдут охотников, шваль какую зечью грязную. Чего доброго, сделают инвалидом. И до самой смерти останешься прикованным к постели. А тебе это надо?

Третий. Забудь о дальнейшей учебе. Какая учеба в колонии для малолетних преступников под для большинства непонятным названием — СпецПТУ?

Есть и другие причины, по которым нежелательно попадаться в лапы наследников железного Феликса, но все принять во внимание или предусмотреть невозможно. Короче, оказавшись внизу, на пересечении улицы Ленина и одноименного проспекта (ну нет у нас своих достойных уважения героев!), я, как простой советский человек, скромный ученик 8 «Б» класса обычной минской средней школы, поспешил слиться с возбужденной толпой, то бишь — массой. Вместе с другими пытался ловить падающие с неба листовки. И даже одну поймал. Текст, понятно, знал наизусть, но прочитал еще раз с удовольствием (про себя, разумеется, как это делали все, кого «осчастливил»): «Дорогие соотечественники! За пятьдесят пять лет нахождения у власти большевистский режим показал свою полную несостоятельность. Уровень жизни людей в стране несопоставим с уровнем жизни рядового западного человека. Люди лишены элементарных свобод, страна окружена железным занавесом. И установлен он не для защиты от внешних врагов. Занавес необходим диктаторскому режиму для полной изоляции общества, чтобы народ не знал истинной, правдивой информации и продолжал жить и

работать за буханку хлеба и кусок колбасы. Мы должны разорвать цепи, низводящие человека до положения заключенного, раба...»

Прочитал — и под ложечкой засосало. Ну и нахватался словечек из разных буржуйских «голосов». Доиграюсь, ой доиграюсь! Сматываться! Немедленно! За такие тексты, если поймают, и в самом деле мало не покажется.

Быстрым шагом перешел улицу, подбежал к остановке. Скорее бы «двойка» подъехала. Скорее... Стоп! На троллейбус, идущий прямо к дому, садиться не следует. Конспирация — одна из составляющих успеха подпольщика, его шанс уйти от ищеек, спущенных властью. А совершившего такое отловить и примерно наказать постараются однозначно. Всю кагэбэшную орду бросят на поиски. И ментов в помощь поднимут, и дружинников подключат, и дворников опросят, и еще черт знает кого вовлекут в охоту на пособника империализма.

Значит, так: пару остановок пройдусь пешком, затем сяду на сворачивающий за квартал от нашего дома тридцать седьмой автобус, а дальше — опять на своих двоих. Заодно и от хвоста (а вдруг уже сели?) избавлюсь.

Сам удивился, как быстро добрался до двора. Спрятался за беседкой: решал, что делать дальше. Домой — нельзя. Там могут быть гости. Те самые, незваные. Защемило сердце. Что там на часах? Без пятнадцати шесть. Скоро мама с работы вернется. Дождусь, а там посмотрим...

«Наконец! — встрепенулся, увидев, как мама пересекала двор. — Вошла в подъезд, сейчас позовет», — прокомментировал, поймав себя на том, что так же, наверное, оценил бы обстановку и наружник контрразведки. Вот она, веселая жизнь нелегала!

Через минуту с балкона донеслось:

— Дима, где ты? Иди домой!

Сразу из-за беседки не вышел: вдруг у мамы за спиной какая сволочь спряталась. Подождал: никого.

— Я здесь, мама, — показался из-за укрытия.

— Ты опять ничего не ел?! Для чего я ни свет ни заря у плиты стою? Немедленно за стол!

Моя добрая заботливая мама! Только о том и волнуется, чтобы сын не был голоден. И непременно всех соседей поставит в известность, что я объявился.

— Иду-иду, поднимаюсь, — пробормотал скороговоркой.

Входил в квартиру и все еще волновался, гадал: выследили или нет? Осмотрелся: и впрямь никого, одна мама. Кажется, все тихо. Что ж, можно и перекусить.

Поужинав, взялся за уроки. Учил, словно пытался за вечер вызубрить всю годовую программу. Что, если для меня и впрямь не будет этого года?

С тревожными мыслями лег спать. Усталость взяла верх над волнением, и вскоре был я, как писали в старых книгах, в объятиях Морфея.

Проснулся сам. Впервые. В школу всегда будила мама, но в пять утра, как в этот раз, она, конечно же, и сама еще спала. «Не шуметь», — приказал себе и, осторожно ступая, прошел на кухню. Включил радиоприемник. Нашел нужную волну. Вот оно: «Вы слушаете радио “Свобода”. Передаем последние новости». Неожиданно среди прочего прозвучало: «Вчера около семнадцати часов в центре столицы Белоруссии города Минска неизвестные борцы с тоталитарным режимом разбросали листовки с призывом к свержению существующего строя…»

«Уже знают, на весь мир передали», — непроизвольно улыбнулся я с радостью и гордостью. Воспрянул духом. По телу пробежала теплая и приятная волна. «Победа! — кричал во мне ликующий голос. — Ты сделал свой выбор, задушил в себе робость, избавился от цепей. Теперь ты должен…»

— Да, теперь я должен бежать, лететь без оглядки, иначе…

«А куда? — перебил меня все тот же внутренний, но уже не ликующий голос. — Бежать некуда. Кругом — стена, граница, пограничники, автоматы…»

Скрипнула дверь. Мама! Видно, от волнения я говорил вслух.

— Опять за свое? — подошла ко мне. — Немедленно выключи приемник. Ох уж этот дед! Подарил любимому внуку на мою голову эту адскую машинку. Ни днем, ни ночью покоя нет. Иди ложись! Не рассвело еще.

Заснуть, конечно же, не мог, не до сна было. Как там сказали? «Неизвестные борцы с тоталитарным режимом»? Да, пожалуй, сейчас это главное — остаться неизвестным. В сладких рассуждениях о своем геройстве провалялся до утра.

В класс вошел, как входит новичок. Все казалось чужим, незнакомым — словно видел впервые. Неужели за неделю каникул так от школы отвык? Или это после вчерашнего глаза по-другому на мир смотрят?

Урок начался с неожиданности. Не успела учительница объявить новую тему, как отворилась дверь. Директор! За ним следовал высокий, стриженный почти под ноль мужчина в темном длинном плаще.

«Расхаживает по школе в верхней одежде, — отметил я. — И директор на такое вопиющее, как сам бы сказал, нарушение не реагирует. За какие заслуги стриженому такая привилегия?»

— Тамара Константиновна, у вас сейчас что по плану? — спросил директор, рыская глазами по классу.

— На известный вопрос «Что делать?» поищем ответ. А что случилось? — забеспокоилась учительница.

Директор обернулся и вопросительно посмотрел на человека в плаще. Тот легонько качнул головой.

— Да нет, — успокоил директор, — нам не к спеху. Зайдем после урока. Необходимо обсудить один вопрос. Вернее, получить ответ. Не отпускайте после урока, пожалуйста, учеников.

«Кому — необходимо? — заволновался я. — Директору или тому, который с ним? И кто он? — задрожали у меня руки. — Все правильно, это ищейка. Вчера они взяли след, а сегодня нашли, кого искали. Кагэбэшники свое дело знают. За ночь вычислили. Что делать? Попроситься в туалет и сбежать?» — «Опять ты за свое, — остановил меня голос. — Сам же сказал — некуда». Значит, остается одно: строить из себя дурачка. Мол, ничего не знаю, моя хата с краю, сидел дома, учил уроки, потом читал «Айвенго» Вальтера Скотта, если надо — могу содержание пересказать. Насчет Бунина, пожалуй, промолчу — он же мне почти сообщник. Ничего, отобьюсь, что-нибудь придумаю. Безвыходных ситуаций не бывает, — подбадривал себя. — Как-нибудь вырвусь из западни. Соскочу с опасных качелей».

Да, я оказался на качелях. На весах Фемиды. Над пропастью. Чья возьмет? Кто перевесит? Что? Их опыт, профессионализм, выдержка или моя молодость, отчаянность, вера в торжество справедливости?

Я ждал и слушал стук своего сердца. Оно пока билось.

День икс

Одни идут заниматься этой борьбой, чтобы стать чемпионами. Призрак главного героя знаменитого кинофильма «Гений дзюдо» все еще бродит по матушке Европе и бабушке Азии. Другие ставят перед собой задачи поскромнее — через приемы и специальные физические упражнения набраться сил, ловкости, уверенности. Третьи надеются просто поправить здоровье.

Я решил заняться дзюдо потому, что хотел научиться драться. Махать кулаками я не умел, вследствие чего, как только мог, избегал кулачного решения вопросов. (А в пятнадцать такие вопросы ох как часто приходится решать.) И отлынивал не от нехватки физической силы — сызмала в моем сознании утвердился своеобразный тормоз: ты не имеешь права поднять руку на другого человека, а тем более гордиться этим. Человек человеку друг, а не враг.

В результате я частенько приходил домой битым, а тип, украсивший мое лицо синяками (он был, как правило, двумя-тремя годами старше — с одноклассниками кулачных конфликтов не возникало), сидел в дворовой беседке и похвалялся, как заехал салаге с левой, затем добавил с правой, а потом еще ногой, ногой…

С кем такое случалось, знает, насколько это мучительно и больно! И физически, и, главное, морально. А что говорить о мальчишке, воспитанном на произведениях Александра Дюма и Фенимора Купера!

После экзекуции я закрывался от мамы в ванной, включал воду и заливался слезами. Сердце стенало. Я проклинал свою трусость, думал о самоубийстве. Не видел выхода из тупика.

А выход был, и совсем рядом — его подсказал случай.

Однажды после очередной стычки с обычным для меня исходом я не пошел домой, а двинулся в никуда по шпалам детской железной дороги. Сам не знаю, как забрел на недостроенный, еще без трибун, студенческий стадион.

Четверо веселых ребят гонялись друг за другом по полю, прыгали через себя, садились на шпагат, выполняли другие замысловатые упражнения, выкрикивая при этом непонятные отрывистые слова. От души над чем-то смеялись.

Один из парней подошел ко врытой рядом с беговой дорожкой скамье — хотел что-то взять из сумки. Как из-под земли, перед ним выросла бригада курильщиков, костяк и цвет районной шпаны. Он вытер рукавом мастерки пот с лица, приветливо улыбнулся, но сказал вполне серьезно:

— Зря вы, ребята, здоровье не бережете. А если не терпится лечь в могилу, то отошли бы от стадиона метров на сто, чтобы дымок успевал рассеиваться, и там бы свои легкие на выносливость испытывали…

Я от неожиданности раскрыл рот и, кажется, перестал дышать. Ждал, что же ответят некоронованные короли района не шибко видному белобрысому парнишке. Промелькнуло: «Скорее всего изметелят, да еще и ногами пригладят. А жаль, смелый парень, но ничего не поделаешь — курильщиков-то целая орава».

На удивление, мое предсказание не сбылось. Парни с сигаретами что-то пробормотали, подергали плечами, покосились исподлобья и… все!

Вот так дела! Вот тебе и короли!

— Что, ребята, задумались? — совсем обнаглел белобрысый. — Русского языка не понимаете?

И те молча, боком-боком топаньки-топаньки — и слиняли.

— Чего смотришь? — вдруг развернулся смельчак ко мне. — Кореша твои? Нет? А с лицом что? Воспитывали? Понятно. Били, значит. И крепко, вижу… Ну ничего, не переживай, пошли к ребятам. Будем твою судьбу менять, как тренер наш говорит. Мою когда-то тоже меняли. Пойдем, говорю, не дрейфь!

И я пошел…

Потребовалось два года, вернее, семьсот тридцать семь дней нелегкого, с кровью и потом труда, чтобы переломить мою нерешительность, боязнь драки. Когда поймал себя на том, что, прежде чем кулак спарринг-партнера достает до лица, успеваю среагировать, применить прием и главной задачей становится подстраховать нападавшего, чтобы не свернул себе шею, во мне рухнуло генетическое нежелание давать отпор, на силу отвечать силой, ударом — на удар.

И однажды настал день Икс. У каждого когда-нибудь наступает этот главный в жизни человека день. Но не каждый готов в нем выступить достойно.

В канун молодежного чемпионата республики я встретил одного из своих давних обидчиков. Точнее, не то чтобы одного. Люди (или как их назвать?), у которых хватает смелости напасть на человека лишь тогда, когда знают, что не получат отпора, слоняются по улицам не в одиночку — всегда ходят стаей в компании таких же храбрецов.

В этот раз их было трое. Они шли, сплевывали сквозь зубы, размахивали руками, бросали матерные словечки. Прохожие обходили троицу. А те — улыбались! Этакая мерзкая, нахальная улыбочка.

Увидели меня.

— О-о, давненько мяч не гоняли!

Обрадовались. Остановились. Готовились.

Один, главный, сжимал-разжимал кулаки — разминался. Второй, мой знакомец, раздавал «пасы» ногами, наглядно показывая, как он по старой памяти будет меня пинать. Третий, явно слабее дружков, небрежно засунул руки в карманы. Усмехнулся. Щербато присвистнул:

— С-сценок!

Сначала, как и когда-то, я почувствовал дрожь, дыхание стало прерывистым, притихшим, но — сердце не ушло в пятки. Вспомнив, кто я (как-никак — чемпион среди минчан до шестнадцати) и кто они (шушера, как называл их сосед дядя Юзик), задушил в себе оцепенение и как следствие его — трусость. На корню задушил. Вырвал из себя гадину. Сбросил петлю с шеи. Выиграл первый раунд. Самый тяжелый — с самим собой.

Я не стал, как прежде, сворачивать в ближайший переулок или перебегать на другую сторону улицы. Шел на них спокойно и уверенно, даже не прикидывая, что буду делать дальше. Знал — в нужный момент кто-то свыше скажет: «Хаджиме!»[1] — и бой начнется.

Они остановили меня эффектно. Когда я прошел мимо, удивляясь, что не слышу чего-нибудь вроде «Малыш, притормози», за спиной раздалось:

— Ну, борзый! Ты что, страх потерял? Назад, сучонок! К ноге! Рысью!

Я сделал вид, что сей призыв ко мне не относится, шел дальше, давал им последний шанс. Ребята шансом не воспользовались. Что ж, это их право.

Обидчик мой, он же «футболист», завизжал:

— Ну, падла, сейчас ты у нас притормозишь! На коленях поползешь! Землю грызть будешь!

Ладно, думаю, ладно. Алчущим да воздастся! И развернулся к желающим побеседовать на абстрактные темы. Все трое уже летели на меня, и пришлось напрячься.

Развернувшись боком, я выбросил вверх правую ногу и попал «футболисту» в ухо. Не готовый к такой встрече, он потерял равновесие, но успел уцепиться за главного. Тот оттолкнул дружбана назад, на меня. «Футболист» размахнулся и... тут я увернулся, и он прошил кулаком воздух. Инерция развернула нападавшего ко мне спиной, и оставалось лишь воспользоваться той самой инерцией.

---

[1] Команда к началу поединка в некоторых видах восточных единоборств.

Получив увесистый пинок в зад, он налетел на урну и затих. «Что-то совсем не страшно, — пронеслось в голове. — Едем дальше». Схватил главного за ноги, оторвал от земли и швырнул на футболиста. Развернулся к третьему.

В этот момент маленький гаденыш из-за спины заехал мне в челюсть кастетом. Захрустели зубы, было больно, но не смертельно. Одновременно с разворотом я подцепил его апперкотом справа. Плюгавенькая крыса покатилась по асфальту. Заныла, запищала, заплакала.

Все было кончено. Я не стал добивать их, наставлять на праведную жизнь, воспитывать словом. Пусть сами решают и думают, как быть дальше. Если же до них не дошло и парни захотят матч-реванш организовать, то это — пожалуйста. Бои с некоторых пор я люблю.

И я пошел. Спешил. Я никогда не опаздывал на тренировки. Не опоздал и на этот раз.

Впереди был главный бой — за достойную жизнь. На моей родине за нее приходится сражаться!

1975-й

Он шел не рядом, а метрах в четырех-пяти за мной, безупречно соблюдая дистанцию. Я мог убежать от него, а мог и завалить (как говорим мы, борцы) этого конвоира в штатском. Но… предстояли экзамены, и я обязан был их сдать. Притом — сдать на отлично. И поступить в институт. Непременно поступить! В нашей семье и среди родни, тех, кто носил нашу фамилию, не было бездарей. Двое, правда, не закончили учебу, но не по своей вине, а по причине их насильственной смерти.

Штатский кивнул на железную дверь и негромко, но ясно сказал:

— На ту кнопку вверху нажми, пожалуйста.

«Хоть и фамильярное ты, а все же — пожалуйста, — отметил я про себя. — Кагэбэшники — не менты! Другой класс. Как вещают вражьи голоса — высший».

Я утопил довольно высоко расположенную кнопку звонка (видно, чтобы дети не баловались — дом упирался в ограду школы-интерната), осмотрелся и удивленно прикинул: центр города, обычный жилой дом и вдруг — вход с торца. Не припомню, чтобы хоть в одной жилой пятиэтажке я когда-нибудь видел двери в торцевой стене.

Открыл ее «товарищ», годами значительно старше моего провожатого, и очень любезно поздоровался:

— Добрый день, Александр Владимирович. Пожалуйста, проходите.

«Интересно, — не переставал я изумляться. — Что снова “пожалуйста” — это понятно: стиль у них теперь такой, цивилизованный. А вот обращение по имени и отчеству настораживает».

Через небольшой коридорчик мы прошли в светлую, хотя и плотно зашторенную комнату.

— Присаживайтесь, — то ли приказал, то ли пригласил старший товарищ.

Опускаясь на стул, я уловил, как он сделал знак моему провожатому и тот удалился. Но не просто вышел, а, закрыв за собой дверь, подергал за ручку — проверил, защелкнулся ли замок.

«Этим свидетели не нужны, — подумалось не без иронии. — Даже свои».

— Александр Владимирович, — начал старший, — вы человек молодой… Впрочем, не обидитесь, если я буду звать вас просто Александром? Нет? Хорошо. Итак, я уже сказал: человек вы молодой, и вся жизнь у вас впереди. И нам, поверьте, не хотелось бы, чтобы она пошла по скользкому пути. Вы без троек оканчиваете школу,

впереди — институт. В общем, все у вас идет, скажем прямо, хорошо, даже отлично. Но есть одно печальное обстоятельство. Догадываетесь какое? Нет? А надо бы! Ваше любопытство. Эта слабость, знаете ли, многих погубила. Я понимаю: молодой, пытливый ум, желание знать больше других. Все это похвально! Однако желание знать то, чего не надо знать, а главное — попытки нести эти сомнительные знания в массы — это уже не любопытство, а нечто похуже…

Я не понимал, куда он клонит. «“Пытливый ум, желание знать больше других...” Что тут плохого? Кому могут помешать лишние знания? А что означает “знать то, чего не надо знать”? Я просто хотел знать правду, реальное положение вещей. Но уже одно это желание вас раздражает. Видно, вы как раз для того и существуете, чтобы никто правды не знал». Его слова, а перво-наперво ироничный, с оттенком надменности взгляд задели меня, даже возмутили. И я довольно резко и, как на теперешний мой ум, слишком смело ответил:

— Простите, но, несмотря на свой, как вы сказали, пытливый ум, я не понимаю, о чем идет речь…

Молодость и смелость — сестры-неразлучницы. Они и тянули меня за язык, толкали на словесное сопротивление. Говорил я искренне, волнуясь, но, как теперь понимаю, собеседник посчитал мои слова вопиющей наглостью. Он не захотел ничего объяснять, в чем-то убеждать или что-то доказывать, а резко выдвинул ящик стола и достал из него голубую полуобщую тетрадку. Мою тетрадку!

Наверное, от неожиданности я раскрыл рот, потому что «товарищ» усмехнулся и спросил:

— Удивляетесь, откуда у нас тайные записки декабриста? В отличие от некоторых, лукавить и обманывать не стану. Принесла тетрадь ваша классная руководительница, учительница истории и обществоведения. Только не стоит горячиться и думать о ней плохо. Поверьте, она сделала это из самых лучших побуждений. Волнуется за вас, переживает. Так и сказала: «Конечно же, это несерьезно, мальчишка увлекается. Но ведь подобные увлечения могут завести очень далеко». Хорошая у вас классная, предусмотрительная. Пришла заранее, пока не случилось беды…

Слова кагэбэшника до меня доходили, как сквозь вату. Сознание отказывалось верить: учительница предала ученика. И кому?! Организации, при одном упоминании о которой замирает дыхание! С этого дня я засвечен! Теперь до могилы поведет меня по жизни какая-нибудь кагэбэшная шестерка. Ошарашенный, я молчал. Не мог выдавить из себя ни слова.

А благодетелю моему, видимо, особо и не требовалось что-нибудь услышать от меня. И он продолжал вкрадчивым голосом:

— Мы просмотрели, Александр, вашу тетрадку. Интересная картина получается. Из статей, что выходили в Советском Союзе в «Литературной газете» и других изданиях о клеветнике и фашистском оборотне Солженицыне, выписывали вы только те места, где его цитировали. Причем без всяких комментариев. Ну просто no comment. А если по-нашему — нет слов! Да-да, нет у нас слов, дорогой Александр Владимирович! («А говорил же, по имени будет называть, по-простому», — невольно вспомнил я.) Страна вас вырастила, воспитала, дала образование, а вы вместо благодарности коллекционируете клевету на нее, вражеские измышления предателей и отщепенцев. Вот и Сахарову отдельную главку отвели. Как прикажете это понимать? Не знаете? А я вам сейчас расскажу…

Старший товарищ взглянул на меня и, словно действительно желая помочь, принялся объяснять:

— Вы, думаю, не осознаете, молодой человек, что стоите на краю пропасти. Знаете, как это бывает? Цепочка тут довольно простая. Сначала коллекционируешь пасквили предателей и отщепенцев, а потом и сам… Начинаешь с повторения чужого вранья, а вскоре оно становится твоей собственной правдой, убеждением. В связи с этим и хотелось бы задать вопрос: что будем делать, Александр? Как жить дальше? По-прежнему изучать творчество так называемых диссидентов, а по существу — изменников Родины, агентов империализма? Распространять их вредные мысли среди своих товарищей?

Я молчал. Оглушили страшные с детства слова: изменник родины, агент империализма. Нечто подсказывало: я на пути туда, откуда нет возврата. Сердце у меня уже давно билось, как у пойманного зайца. Казалось, его гулкие и частые удары слышит вся страна, и все вокруг, выйди я на улицу, станут тыкать в меня пальцем, и раздастся голос Левитана: «Вот он, агент империализма. Родина его вырастила, а он предал ее!»

И вдруг чекист обронил:

— Насчет яблока и яблони, друг мой, очень верная пословица.

Только значительно позже я понял: эти слова были произнесены не случайно. Яблоко — это я, а яблоня — мой отец, арестованный и сосланный на долгие годы лишь за то, что в нашем доме нашли книги нацдемов Максима Горецкого и Язэпа Лёсика, отец, вернувшийся из концлагеря инвалидом; это и мой дед, участник Первого Всебелорусского съезда, тоже названный врагом народа, он двенадцать лет прошачил в шахтах Воркуты, где наглотался угольной пыли и умер

от рака горла; это и мои дяди, братья отца, педагоги, одного из которых расстреляли ночью в гэбистском подвале одни оккупанты, второго — днем из-за угла — другие.

Тогда я почти ничего об этом не знал и, конечно же, разволновался. Был уже достаточно взрослым, чтобы понимать: с КГБ лучше не связываться. И если там заинтересовались тобой, это не сулит ничего хорошего. Короче, было от чего запаниковать.

Видя мое состояние, кагэбэшник повеселел, заулыбался: его речь возымела действие. И решил успокоить меня:

— Да не волнуйся уж так сильно, Александр, не переживай. Мы же не звери какие-нибудь. Разберемся, поможем. Но и ты должен пойти нам навстречу. Для начала мы хотели бы получить ответы на некоторые вопросы. Скажем, чем тебя привлек Солженицын? Для чего ты так бережно и аккуратно выписывал и наклеивал его цитаты? Расскажи, не бойся. Только правду. Тогда нам будет легче тебе помочь.

Как можно было не откликнуться на такую просьбу? И я вполне искренне, как несмышленый мышонок перед кошкой, замяукал:

— Я люблю математику, физику, другие точные науки. Учителя говорят, я человек технического склада. И, как вы отметили, любознательный. Всегда стараюсь докопаться до истины. Любой новый факт меня словно подстегивает — а почему так? Почему не иначе, не по-другому? В учебнике истории, к примеру: 1930-е годы, культ личности, репрессии. Сразу же загораюсь: что за культ личности, какие репрессии? А классная отвечает что-то невнятное. Фактически не отвечает на вопросы. Ну, а тут — Солженицын. Смотрю и глаза разуваю: у него все понятно. Да вы же сами знаете, читали, наверное, Солженицына. У него все названо своими именами. Кровь, пытки, убийства тысяч, миллионов ни в чем не повинных людей. Геноцид против всей страны, в первую очередь — против ее интеллектуальной элиты. Попытки сделать СССР страной рабов, страной-концлагерем…

— Даже так? О, мой юный друг, ты далеко пойдешь, очень далеко, пожалуй, дальше, чем мы думали.

Он не сказал, дальше кого я пойду. И только много лет спустя я сформулировал для себя примерно такое продолжение: «Дальше, чем весь твой вырезанный нами род!» Но тогда он не сказал этого. Видимо, посчитал: для начала достаточно хорошенько припугнуть безусого юнца, по существу мальчишку. Только беседа должна быть жесткой и продолжительной. Чтобы оставила впечатление и запомнилась. И она длилась несколько часов. Вопрос следовал за

вопросом. Пустяшный — за серьезным, шутливый — за каверзным, наивный — за вопросом с подтекстом, с намеком. Не на все из них мне хотелось отвечать. На некоторые я просто не мог ответить в силу недостаточности моих познаний.

В конце концов, сочтя, что «адепт Солженицына» получил достаточную профилактическую обработку, и прочитав лекцию о бдительности, старший «товарищ» меня отпустил:

— Ладно, иди, сдавай свои экзамены.

*

Мама уже страшно волновалась, не находила себе места: куда я делся? Обычно сразу после школы приходил домой, а тут пропал до вечера!

— В библиотеку забежал, — оправдывался я, хоть и не был ни в чем виноват. — Зачитался и не заметил, как время пролетело.

— Уроки, милый мой, нужно делать, а не звезды считать. — Мама имела в виду буквальный смысл этих слов: с восьмого класса я просто загорелся астрономией. — Два дня до экзаменов, а тебе все нипочем.

Сказать маме правду в тот вечер я побоялся. Гэбист сурово предупредил: никому ни слова! И повторил это трижды. Что, конечно, означало: и матери ни слова.

Должны были пройти годы, прежде чем я понял, как мне повезло, что в той беседе не додумался соотнести тоталитаризм Сталина, открытый, кровавый, и другой, тогдашний: скрытый, приукрашенный, лживый. Однако кое-какие выводы сделал. Пришла в голову мысль, что после всего случившегося меня по подсказке оттуда будут спрашивать на экзаменах с особым пристрастием. Эта угроза заставила штудировать экзаменационные билеты от первого до последнего, выучить материал, как говорится, назубок.

Впрочем, математику и физику, к которым я испытывал давнишние симпатии, зубрить не понадобилось. А вот над историей пришлось попотеть. Однако, на удивление, никто ко мне не придирался, вопросов на засыпку не задавал, и экзамены я сдал без особого напряжения. Но только получив аттестат зрелости, вздохнул с облегчением:

— Проскочил! Свободен!

Да, рядом со словом «проскочил» сорвалось у меня с языка и, как потом стало модно говорить, это сладкое слово — свобода. Вот так, даже все выучив, я считал, что не сдал, а проскочил, и, не совершив

преступления, радовался, что свободен. Позднее осознал: вся эта странная логика обязана моим перестраховочным генам.

*

На следующий же день после экзаменов стал усиленно готовиться к чемпионату Минска по дзюдо. «В школе обошлось, — рассуждал я, — а при поступлении в институт они меня точно достанут. Значит, для подстраховки нужно победить на чемпионате столицы. А там — Республика, Союз. Чемпиона, может, и не тронут».

Но чемпионом я не стал, хотя и дошел до финала. Борьба за золото шла на равных, но ничьих в дзюдо не бывает, и по хантэю (мнению судей) победу отдали мастеру, а не перворазряднику. «Если бы ты хоть кандидатом был», — утешал меня тренер.

Хуже того, увлекшись чемпионатом и тренируясь по два часа три раза в день, я забросил подготовку в институт. Забыл даже кое-что из, казалось, выученного наизусть и с «абсолютным пониманием».

Опомнился на вступительных экзаменах, но было поздно что-нибудь исправить. Сдавая любимую физику, почувствовал: на пять не тяну (надо было ее, родимую, хотя бы малость пролистать перед экзаменом), развернулся и вышел из аудитории.

— Делай что хочешь, — кричал на меня тренер, узнав о моем провале, — но учти: в этом году «без института» я даже призера города от военкомата не отмажу. Кругом недобор!

Через два дня, обзвонив приемные комиссии и отовсюду услышав: «К сожалению, вы опоздали, прием документов закончен», ринулся в Москву. Последние три года я довольно серьезно занимался астрономией, а книги И. Шкловского, Ф. Зигеля, В. Цесевича, Б. Воронцова-Вельяминова, Т. Агекяна стали для меня настольными. В голове постоянно вертелось «Oh, Be A Fine Girl, Kiss Me!»[1] — шуточные слова, облегчающие запоминание последовательности спектров звезд от самых горячих до очень холодных — O, B, A, F, G, K, M. Думалось, что схема: пришел, увидел, победил — может быть приложена временами не только к Юлию Цезарю. Покажу свои знания, пристегну разработанную мной гипотезу «разбегания» Вселенной и… уж каким-нибудь дворником в институт астрофизики меня возьмут. А дальше — увидим.

Но все оказалось куда проще:

— Знания по астрономии у вас как у студента третьего курса, а прописки московской — нет. Вынуждены огорчить.

---

[1] О, будь хорошей девочкой, поцелуй меня (англ.).

Несолоно хлебавши нужно было возвращаться домой. Перед отъездом решил пройтись по Москве — прогуляться, успокоиться. Не заметил, как забрел в Лужники.

— До начала балета «Звезды на льду» осталось пять минут, — объявил популярный комментатор Николай Озеров. — Напоминаем: в спектакле участвуют… — и назвал мою любимую по репортажам с чемпионатов мира семейную пару.

«Была не была!» Сломя голову я рванулся в кассы и через несколько минут с билетом в руках бежал к указанному третьему сектору.

Смотрел на виртуозное катание моих кумиров, неистово бил в ладоши, но думалось о другом — о том, что не стал чемпионом, не попал в студенты, что не суждено было устроиться даже дворником в институт астрофизики. Единственное, чего удостоился, — засветиться в КГБ. Не самая, скажем прямо, удачная засветка. Всего семнадцать лет отроду, а впереди — тупик, глухой тоннель без лучика света. Вот такой плачевный результат.

Не иначе все это было написано у меня на лице, ибо три девчонки-соседки сжалились надо мной и угостили мороженым. И сейчас помню — шоколадным с орехами, моим любимым, за двадцать восемь копеек, самым тогда дорогим. Сначала я отказывался, но они дружно, в один голос заявили:

— Берите, берите, не то пропадет — растает.

Аргумент был из убедительных, и, пролепетав что-то вроде: «Неудобно как-то» и «Спасибо», я протянул руку к мороженому.

— Неудобно спать на потолке, — выдала одна из девчонок, но, посмотрев на меня, смутилась.

Я почему-то еще больше застеснялся и ткнулся в мороженое носом, отчего соседки дружно рассмеялись. Мне ничего не оставалось, как поддержать их. Так и познакомились.

После стадиона наша компания забрела в ближайшее кафе, а потом кто-то из девчат предложил послушать музыку. Мне показалось странным, что такое предложение исходит от представительницы женского пола, но, может быть, я отстал от жизни? Возможно, и в самом деле в наше время не всегда только мужской пол приглашает «на музыку»?

Взяв по пути шампанское и килограмм «Мишек на Севере», мы поехали в район Курского вокзала. В квартире длинную полку занимала коллекция фирменных грампластинок. Первой на сиявший золотистым лэйблом японский плэер «Pioneer» девчонки поставили полузапрещенную пластинку «Deep Purple in Rock». Вскоре рокеры так

нас завели, что прослушивание перешло в дискотеку, а танцы — в ночной кутеж. Откуда-то взялось еще шампанское, потом — вино…

Проснувшись утром, я некоторое время не смел пошевелиться. Почему? Да потому, что был в постели не один и не решался взглянуть в лицо лежавшей рядом девчонки: вдруг это будет не та, с которой так весело вчера вытанцовывал?

Потихоньку оделся, осторожно прикрыл за собой дверь, за которой до рассвета крутят музыку, и опрометью бросился вниз по лестнице. Из дома с торцевой дверью так не убегал. Оттуда, наоборот, шел не спеша, не по возрасту степенно. Теперь же, из многоэтажки вблизи Курского вокзала, просто летел. Без оглядки, как лермонтовский Мцыри. На душе было муторно и беспокойно. Подгонял отрезвевший разум. Он командовал, приказывал, кричал: «Бегом! Лето заканчивается, а ты еще никто. Никто и нигде! Вот тебе и комсомолец, вот тебе и спортсмен, вот тебе и всезнающий астроном! И КГБ, между прочим, тут совсем не при чем!»

*

Купив на последние деньги самый дешевый — в общем вагоне — билет до Минска, я пошел позвонить жившей в Москве тете Наде, маминой сестре. Не сделать этого не мог. Не поняли бы ни мама, ни тетя. Я обязан был зайти, не то что позвонить. Но после фиаско в астрофизическом институте мне было не до тети, а отведав приключений с московскими меломанками — тем более. И только сейчас, перед самым отъездом, спохватился: надо хотя бы объяснить, почему не зашел.

Тетя Надя была богатой и бездетной и, видимо, по этой причине не чаяла души в племянниках и племянницах. Услышав мой голос, она страшно обрадовалась и, как всегда, скомандовала:

— Сейчас же ко мне!! Возьмешь такси и скажешь: «Гостиница «Москва». Запомнил? Я распоряжусь, чтобы тебя внизу ждали. Все понял?

Мне ничего не давалось в жизни даром. В школе, чтобы получить за урок пятерку, старательно выучивал весь заданный материал. И не только заданный, но и внепрограммный, ибо мне почему-то обязательно задавали дополнительные вопросы. Даже эта поездка в Москву. У мамы попросить денег не мог: знал — нет у нее. Значит, нужно заработать. И три ночи я разгружал вагоны с посудой. И так во всем. Лишь стихи, пожалуй, писались сами собой, без напряжения. Особенно про девчонок. Такие, к примеру:

Две грудки, словно яблочки, румянятся,
Горят, трепещут в поцелуях сладостных,
И каждая друг дружке лаской жалится:
Ох, почему же мир мгновений радостных
Нас опьяняет чувствами и...

Что-то было и после «и», но что — забыл. Давно, еще в восьмом классе, писалось, и конечно же, по-русски. Казалось неуместным слагать стихи по-белорусски в почти полностью обрусевшем Минске.

Стихов у меня собралось много — две толстые тетради. Подумывал показать их знающему человеку. Такого не находилось. Зато попался на глаза «Алый парус» — литературная страничка «Комсомолки». Решил: окончу поэму и пошлю, пора выходить в люди. Но все мои прекрасные порывы закончились тем, что однажды, размечтавшись, я бездарно забыл обе тетради и незаконченную поэму в троллейбусе. Вышел на остановке, а они поехали дальше. Опомнился поздно. И хотя отыскал тот злосчастный троллейбус и поговорил с водителем — все напрасно: тетради исчезли. Потеря была невосполнима. Тогда я сказал себе: больше стихов не пишу! Никогда! Клятве той оставался верен чуть ли не двадцать лет.

Но к чему я все это? Ах, да — тетя Надя и ее щедрость. Ей только заикнись — облагодетельствует. Ну и пусть! Предложит помощь — не откажусь. Все же — родной человек.

Теткин любезный, хотя и приказной голос взбодрил меня. Но настроение мое было по-прежнему омрачено, и пошел я искать, вернее — ловить такси далеко не в радужном расположении духа.

*

Не успела машина остановиться у вылизанного до блеска гостиничного крыльца, как от дверей, вскинув руки, словно для объятий, бросился ко мне швейцар. Таксист вытаращил глаза: мальчишке швейцары «Москвы» дверь открывают! Он даже забыл произнести дежурное, почти не зависящее от полученной суммы словцо: «Маловат-то».

Через минуту я заходил в лифт, а вскоре стоял у двери кабинета с табличкой: «Директор». На всякий случай постучал.

— Проходи, Санек! — тетя сама распахнула дверь. — Присядь, обожди минутку. Подпишу пару бумаг — и поедем. Хочу тебя побаловать. А то, смотрю, стоит на пару годков потерять тебя из виду, как от всех моих прежних стараний не остается и следа: лицо унылое, вид уставший. Улыбаться надо, Санек, улыбаться! Не поддаваться жизненным невзгодам! Не идти у них на поводу! Ты у меня

умненький и не избалованный. У тебя все будет хорошо. Великолепно! Вот увидишь. Я уже решила. Подумала и сделала вывод: надо Саньку в люди выводить. В богатые люди! Заулыбался? Это хорошо. Хоть морщинки с твоего лица убежали.

Обшитая изнутри велюром теткина «Волга» чем-то напоминала бар из ненашего фильма: надушенный «францией» салон и в полулежащей позе на заднем сиденьи — безупречно вылизанная парикмахером хозяйка.

Три часа мы мотались по магазинам и складам Москвы, а тетя все не унималась. Наконец, когда я уже мало что соображал, сказала водителю:

— Ладно, Василий, едем домой. Видишь, племянник с голоду помирает.

«Снова намек: провинциал, стесняется сказать». Конечно, помирать я не помирал, но возражать не стал. Спорить с тетей бесполезно, ее добродетельную, почти агрессивную любовь я испытывал и раньше, а потому лучше смириться и молчать, тем более и впрямь пора перекусить.

Но тетя Надя вдруг заговорила другим тоном и о другом. Посчитала нужным поведать, как собирается распорядиться моим будущим.

— Слушай, дружок, внимательно. Тебя прямо сам Бог послал. Сегодня я ужинаю с очень серьезными людьми. И теперь попрошу их, чтобы приехали с дочкой. И этим людям ты должен понравиться. Ведь ты у нас парень видный, и внешностью, и умом не обделен. Такие на дороге не валяются. В общем, все должно пройти хорошо. Глава семьи недавно назначен послом в Швецию. Мать тоже в МИДе работает. Есть у этих загнивающих капиталистов и возможность учиться. Само собой, на английском или шведском. Ты, надеюсь, не против такой перспективы? I think the language for you is not a… How to say it in English?[1]

Я мало что понял из тетиных полунамеков, но не откликнуться на ее английский не мог:

— Do you mean «an obstacle»?[2] — попытался подсказать.

В ответ она улыбнулась:

— The accent is certainly Byelorussia[3].

*

[1] Я думаю, язык для тебя не… как сказать по-английски? (англ.)
[2] Вы имеете в виду «препятствие»? (англ.)
[3] Акцент, конечно же, чисто белорусский (англ.).

До прихода гостей оставался час, в течение которого я доблестно отмокал под душем. Только минут за пять до их появления тетя спохватилась и вытащила меня из ванной.

Семья дипломатов не разочаровала. И в самом деле, достойный образец московской элиты. Благородная, породистая осанка отца, красивая, роскошная улыбка матери, симпатичная белокурая — почти шведка — дочь.

Позже, за столом, я обратил внимание на одежду гостей — швов почти не видно! — и, конечно же, на ювелирные украшения матери и дочки. Бриллианты их серег, браслетов и колье отражали солнечные лучи, которые, ударяясь о хрусталь бокалов, то и дело слепили меня. Я вырос совсем в другом мире, и эта демонстрация благополучия, достатка, а проще говоря — богатства, задевала и смущала. В какой-то момент подумалось, что, может быть, должность посла в Швеции для отца — вынужденное понижение, а заодно уход от ответственности: вряд ли все это мог заработать обыкновенный, пусть даже не малого ранга чиновник.

Сначала я чувствовал себя не в своей тарелке, стеснялся, сидел за столом, словно привязанный. Но постепенно скованность проходила.

Тетка и жена будущего посла, не умолкая, наперебой пересказывали друг дружке последние светские новости, разные, чаще смешные, истории из жизни «свиты» и московского бомонда. Весело, даже азартно смеялись сами и веселили всех нас. Незаметно я оттаял и хохотал едва ли не громче всех. И этим, как оказалось, порадовал отца семейства. Он вдруг поднялся и произнес такой тост:

— Скромность и простодушие — свидетельства порядочности. Думаю, пока у столицы имеется подпитка в лице чистой душою провинциальной молодежи, у страны есть будущее! Так выпьем же за нашу достойную смену!

Все с удовольствием осушили бокалы с «золотым» шампанским (любимым напитком «шведов»). Потом еще и еще…

Время летело незаметно. Было уже очень поздно, за полночь, когда тетя попросила меня спуститься в подвал за клубничным вареньем. Я удивился: зачем, хватает же сладостей? Но тетя почти подтолкнула меня к выходу:

— Не ленись, ступай. Забыл, где свет включается? Нет? Молодец!

Отсутствовал я минут пять, может чуть-чуть больше. А когда вернулся с литровой банкой любимого тетиного клубничного, сразу же услышал приговор.

— Молодой человек, — голосом опытного педагога начала супруга посла. — Мы тут без вас, уж простите, посовещались... Человек вы неглупый, спортивный и главное — не-из-ба-ло-ван-ный, — сказала, растягивая последнее слово. — Есть такое предложение... Кстати, — она улыбнулась и подмигнула то ли мне, то ли тете, — Насте вы понравились. Она у нас тоже девочка что надо: и добрая, и хозяйственная. Просто ваша вторая половина. — Дочь покраснела и опустила голову. Мать же продолжала: — Так вот, есть предложение держаться вам с Настей вместе. А где будете жить, я думаю, Надежда Павловна вам уже сказала... Нет-нет, сразу можете не отвечать. Подумайте. Но времени на это у вас мало. Хотя — почему мало? Целые сутки! К сожалению, больше мы ждать не можем.

Я был оглушен. Словно обухом по голове! Без меня меня женили?! Ну тетушка! Вот это сюрприз! Куда там любительницам «Deep Purple»! И сутки на раздумье! Действительно, приговор! Притом без обжалования.

Не успел я не то чтобы что-то сказать, но и сообразить, что делать дальше, как отец семейства встал из-за стола:

— В гостях хорошо, но пора нам, Надя, и честь знать.

*

Все во мне кипело. «Нет, увольте! Это предложение — удавка! Конечно, хорошо было бы учиться в Швеции, но не такой же ценой. Лезть в кабалу, ходить на поводке? Слышать: «Мы тут без вас посоветовались и решили». Они, видите ли, решили! Никто никогда за меня решать не будет!»

Тетя, проводив гостей, вернулась в зал и сразу заметила мой недовольный взгляд. Все же спросила:

— Ну, и что ты надумал?

— Я? Ничего! Это вы надумали! — ответил без тени иронии.

Но тетю так легко не обманешь.

— Странные вы, белорусы. Живете в нищете, маетесь, а представляется возможность выйти в люди — вы на дыбы: «Нет, это не по мне!». Санек, я поняла: для брака по расчету ты пока не созрел. Жаль. Сейчас — не созрел, а другого шанса может и не быть. Запомни!

Я молчал, хотя сказать хотелось многое.

— Понимаю, — пыталась успокоить меня тетка. — Свобода — прежде всего! И все-таки, дорогой племянничек, честное слово, жаль, что не хочешь ты стать богатеньким Буратино. Ну да Бог с тобой! Давай спать! Утро вечера, может быть, действительно мудренее.

Вставала тетя рано, хотя на работу выбиралась где-то к двенадцати. То утро она посвятила не парикмахерской, как это было заведено, а мне. Новая бездонная заморская сумка набивалась дорогими подарками: джинсы легендарной «Lee», венгерские котоновые байки, толстый, но невесомый ирландский свитер, финская кожаная куртка, уйма более мелких вещей и предметов, дюжина книг фантастики и детективов. «Один день Ивана Денисовича» Солженицына я уже выпросил сам. Тетка погрозила пальцем, но книгу отдала, и я с радостью и благодарностью прижал томик к груди. Уже после с содроганием подумал: «Ох, если об этом узнают там, за железной дверью!».

Тетя стала складывать в сумку разные лакомства и деликатесы (в металлических упаковках — чтобы не разбились) и наказала:

— Кладу это сверху, проголодаешься — сразу что-нибудь достанешь. Не будешь копаться, перекладывать вещи, выставлять напоказ, что там у тебя.

И еще обрадовала:

— Сумку сдашь в камеру хранения, а сам, я прикинула, успеешь побывать в театре «На Таганке». Времени достаточно. Вот билеты (какие места, заметь!) и деньги на такси. Не экономь! Никакого метро — только на машине! Хотя на метро часто добираются быстрее, но сегодня оно нам не подходит. Ну все, с Богом. Василий, слышу, подъехал.

Тетин водитель всегда припарковывался под самыми окнами ее квартиры, но в дверь не звонил. Иногда он мог там прождать-проспать несколько часов, как и у гостиницы «Москва». «Солдат спит, служба идет!» — поучал швейцаров.

Тетя вышла из машины раньше, на подъезде к работе. На прощание еще раз напомнила:

— Романтик, смотри, не забудь сумку в камере хранения! А то до Минска голодным поедешь!

*

Наверное, я так же чувствовал бы себя, очутившись, скажем, в Швеции, — одиноко и неуютно. Попал в театр неожиданно, психологически не готовым, что, как мне казалось, сразу же бросалось в глаза. Стоял у стены с портретами артистов и невольно удивлялся. Нельзя было не удивляться. Театр начинается с вешалки? Нет, этот начинался с фойе. С этих портретов. С публики. А публика была не самая простая: Вознесенский, Окуджава, Михалков, Рязанов… Я узнавал их сразу.

Начался спектакль. Все артисты играли с полной, на пределе душевных и физических сил, отдачей, но больше всего поразил Высоцкий. Самый знаменитый в стране бард? Да. Известный киноактер? Да. Но никогда не думал, что все эти амплуа может затмить Высоцкий театральный. Он метался по сцене, как безумный, не щадя рвал свой и без того сорванный голос.

К концу спектакля Высоцкий не говорил, а стонал. В какой-то момент он настолько вошел в раж, что Демидовой — партнерше по спектаклю — пришлось его успокаивать.

— Володя, — сказала она, хотя героя пьесы звали, конечно же, иначе, — Володя, все хорошо.

Он покидал сцену абсолютно изможденный, пот струился по лицу. Одежду можно было выжимать.

Я тогда произнес фразу, которую и теперь помню: «Так пашущие долго не живут!». Насиловать организм подряд два часа на пределе его возможностей?! Действительно ходьба над пропастью. По самому краю.

Спектакль пролетел как одно мгновение, но оно полонило меня и оглушило. Я растворился в нем без остатка и после финальных слов не сразу сообразил, где нахожусь. Лишь гром аплодисментов заставил меня очнуться.

Когда вышел, наконец, на улицу и взглянул на подаренные теткой часы, спохватился: до отправления поезда оставалось двадцать пять минут! Ну и тетя, ну и рассчитала! Подбежал к кромке тротуара, стал махать рукой перед каждой машиной.

Одна из них остановилась.

— До Белорусского? — переспросил таксист, рядом с которым сидел пассажир. — Пятерик!

Пассажир невольно усмехнулся. Я понял, что меня обувают, но выхода не было, и возгласил по-гагарински:

— Поехали!

В камеру хранения влетел за шесть минут до отправления. Почти вырвал сумку из металлического багажного ящика и помчался к платформе. Где он, минский поезд, на каком пути? «Три минуты, две», — отсчитывало сознание.

Перед глазами наконец мелькнула табличка «Москва — Минск». Бежать к своему вагону времени не было — вскочил в ближайший. Проводница, чуть не сбитая мною с ног, среагировала мгновенно и по-белорусски:

— От ужо гэтыя маскалі! Заўсёды пазняцца!

Москалем, думаю, меня сделали обновленный прикид и фирменная сумка.

*

Я прошел в свой вагон и отыскал отмеченное в билете купе. Открыл дверь и глазам не поверил: «Люкс! Ну и тетушка! Вот это да! И не стань после такой жизни агентом империализма!»

В купе никого не оказалось. Но я не огорчился. С облегчением вздохнул: «И слава Богу! После Москвы, как и после соревнований, необходимо отдохнуть».

Сходил к проводнице, попросил, чтобы принесла чай. Вскоре услышал стук в дверь. Пригласил:

— Входите, пожалуйста.

— Спасибо! — голос был вовсе не похожий на простуженный басок проводницы.

Я удивленно поднял глаза… Как выглядел в эту минуту — не знаю, но вошедшая в купе народная артистка СССР Вас-ва, улыбаясь, чуть приподняла руку:

— Спокойно, молодой человек, спокойно. Все хорошо. Да-да, это я. Не Господь же Бог! Поэтому закрываем рот и заказываем чай.

Господи, это действительно она! И говорит что-то о чае…

Я сорвался с места и поспешил к проводнице: не один, а два стакана. От нее побежал в вагон-ресторан. Зачем? Вряд ли понимал. Но сознание того, что еду в одном купе с народной артисткой СССР, подталкивало к действию. А как же иначе? Когда такое еще повторится? Может, и никогда! Значит, надо что-то делать, что-то придумать.

Я выстоял очередь, купил красивую коробку «коммунарских» конфет и бутылку шампанского. Счастливый, возвращался в купе.

Осторожно, стараясь не греметь, откатил дверь. И опять остолбенел: соседка спала. Прилегла, видно, на минутку и незаметно уснула. Сказалась, наверное, усталость. С корабля на бал — со спектакля на поезд, в путь-дорожку.

Положив конфеты и шампанское на стол, я тоже прилег и так же неожиданно для себя забылся…

— Молодой человек, — разбудила меня утром знаменитая соседка, — скоро Минск.

Позже, когда я привел себя в порядок, она, улыбаясь, сказала:

— Неопытный вы однако кавалер: шампанское так и не распечатали… Шучу… Ради Бога — не огорчайтесь! У вас еще все впереди! И, поверьте, это я вам завидую. Как бы мне хотелось вновь

оказаться в вашем возрасте! Ну, да годы не вернешь. А утренним чаем — угощаю! Я уже распорядилась.

Мы пили чай, ели конфеты, говорили о театре. Я рассказал, что восхищен игрой Высоцкого, вкрутил что-то про идущего по лезвию бритвы. Она поддержала, сказала: «Есть и другие. Олег Даль, например…»

На прощание попросил у нее автограф. Народная расписалась на книге Иосифа Шкловского «Вселенная, жизнь, разум» — первой, что попалась под руку в моей сумке.

Поезд остановился, и мы поднялись. Последнее, что услышал от знаменитой попутчицы, были слова, которые осели в моей памяти навсегда:

— Ну что, молодой человек, будем двигаться вперед?

Ее встречала толпа людей, телекамеры, а меня — мой город. Мой? Не знаю, поверите ли, но на этом кратком слове — «мой» — я вдруг споткнулся. «Мой ли?» — кольнуло сомнение.

Сосредоточиться на нем не успел — передо мной стояла… мама! Моя бедная мама. Она приехала. Конечно же, тетя ей позвонила: иди встречай своего сыночка, а то ваши нищие по дороге его обворуют, он же у тебя такой неопытный и доверчивый.

*

Мама от такси решительно отмахнулась. Даже слушать не стала.

— Платить три рубля за какие-то пятнадцать минут езды? — возмутилась. — Это тебе не Москва! Пошли на троллейбус.

Вряд ли к месту говорить сейчас о том, как мы добирались домой нашим пятым маршрутом. Мне он осточертел еще с тех пор, когда мама возила меня в детский сад. И ехать недалеко, всего-то четыре остановки, но в троллейбусе всегда была давка. Словно он последний, и все норовят влезть обязательно в него.

Но Бог с ним, с этим пятым троллейбусом! Вспоминаю о нем только для того, чтобы сказать: после его «селедочной» давки было особенно приятно прийти домой, раздеться, упасть на тахту или просто на пол, на ковер и отдохнуть, насладиться прохладой, тишиной и покоем.

Однако я не успел насладиться. Перебил тревожный междугородный телефонный звонок. Звонила тетка, но уже другая — «северная». Она, как всегда, все знала и… приревновала меня к представительнице, как говорила, московской гостиничной мафии. Требовала, чтобы немедленно приехали к ней в гости. Требовала

категорично и безапелляционно, а на прощание поставила жирную точку:

— Приглашение выслала.

Без него мы не могли получить пропуск в пограничную зону.

*

Как было после этого отказаться? И мама сдалась:

— Ладно, возьму недельку из отпуска и, пока тепло, съездим, навестим.

Меня, правда, предупредила — вернее, попросила:

— Только ты, пожалуйста, обещай, что не будешь сидеть, как раньше, день и ночь у телевизора. Что оно тебе далось, это финское телевидение, свободное, как ты говоришь? Хочешь знать то, чего не положено? Опомнись, сынок! Не лезь на рожон! У меня до сих пор голос вашей классной в ушах звенит: «Саша будто не в советской семье воспитывается, не в СССР родился и растет...»

«Бедная мама», — вздохнул я, как и тогда, на вокзале. Проработавшая всю жизнь на ткацкой фабрике, она была типичным образчиком советской женщины — передовицы производства. Притом рассуждала и поступала в соответствии с этим своим, принятым как должное, положением, или, если хотите, — статусом.

Поэтому и ехали мы не в «люксоре», а в народном, плацкартном вагоне. Ехали далеко, на Крайний Север, в пограничную зону.

Слушая приятный перестук колес, я чуть ли не самодовольно улыбался: как это бдительные ребята из известного желто-серого здания в центре Минска отпустили меня в такую поездку? Увидел себя этаким героем, который, оказывается, может даже посмеяться над гэбэшниками, упрекнуть: и они не всюду поспевают, не все видят и слышат!

Теперь, спустя годы, мне жаль не тех ребят, а самого себя, наивного, самоуверенного и доверчиво-неопытного.

Место мое оказалось, само собой, на верхней полке. Но я уже имел какой-никакой опыт в подобных поездках. Почему-то во всех плацкартных вагонах, куда бы ни ехал, гуляли жуткие сквозняки. Зная это, я, ложась головой к окну, укутывал ее полотенцем. Хватило мне того, давнишнего случая...

После окончания восьмого класса, с которого, кстати, и взялся по-настоящему за учебу, мама повезла меня «на деревню к дедушке» под еще не радиоактивный Гомель. В поезде меня так продуло, что к вечеру с температурой сорок я лежал без сознания в какой-то сельской больнице. Все ходили вокруг, охали и ахали, но что делать —

никто не знал. Меня же вдобавок к несбиваемой температуре постоянно тошнило. Под конец — с кровью.

Выжил, можно сказать, чудом. Повезло. Как раз в это же время в той деревне отдыхал главный врач второй минской больницы. Приехал на родину, к матери. И оказался врач для меня, как в песне поется, в нужном месте и в нужный час. Правда, тогда было не до песен. Без этого не иначе как Богом посланного человека будущему агенту империализма была бы, безусловно, крышка. Доктор сражался за жизнь сынка (называл меня так) всеми доступными способами. Запугав здешних шишек своими связями в столице, добился того, что на второй день сынка посадили на вертолет и я оказался в лучшей больнице Гомеля. Доктор трое суток не отходил от моей постели. И в результате меня не доконали каким-либо неправильным диагнозом и, соответственно, ошибочным лечением. И я выжил.

Позже узнал: фамилию мою главврач тогда услышал не впервые. Когда-то он учился в медицинском институте в одной группе с моей двоюродной сестрой. У них была любовь. На третьем курсе от «друзей» из желто-серого здания ректору пришло письмо. Вскоре сестру, как дочь выявленного врага народа, из института исключили. Тогда будущий главврач побоялся выступить в защиту своей любимой — это значило бы распрощаться с мечтой стать врачом. Сестра после исключения долго болела, сутками не спала, бредила и в конце концов сошла с ума.

А в то время, когда судьба свела его со мной, прошедший «вьетнамскую» доктор уже ничего не боялся. Он сражался за мою жизнь и за свою честь. Знал: с этой фамилией я в роду — последний. И если он не сделает всего возможного и невозможного, цепочка может окончательно оборваться.

Вдобавок ко всему пережитому я в той гомельской больнице случайно услышал оброненную одним из врачей фразу: «Пункцию все же зря взяли. Поспешили, перестраховались, можно было и не брать. А теперь после сорока пяти он — не жилец. Ранняя старость».

До сорока пяти тогда мне было далеко, и фраза та меня не очень насторожила. Не жилец так не жилец. Это про кого-то другого, не про меня.

А позже, когда память возвратилась к тому давнему безжалостному приговору, я сказал себе: «Что ж, если это действительно так, надо торопиться». И с того времени я всю жизнь, как мог, торопился.

Тороплюсь и сейчас, когда пишу эти строки.

*

Наш плацкартный жил своей вагонно-дорожной жизнью. Бедные братки-белорусы ехали к получавшим бешеные северные родственникам. Кто — в Мурманск, кто — в Мончегорск, а некоторые счастливчики — в приграничную зону, к «финнам». К счастливчикам принадлежали и мы.

До Ленинграда все было обычно и просто, как везде в Советском Союзе, но когда северную столицу проехали, началось нечто несусветное. Состав пошел вдоль границы, и на каждом полустанке нас неустанно проверяли, проверяли, проверяли. Сначала это заставляло всех волноваться, потом стало восприниматься спокойно и, наконец, сделалось предметом шуток. У меня даже возникло желание подтрунить над товарищами в зеленых фуражках. Это чуть не довело до беды. На одной из остановок на очередное «Ваши документы!» я, вместо того чтобы достать паспорт, выдал:

— My name is Mick Jagger, — назвал имя известного английского рок-певца. — I am from England. I have no documents on me but I can sing for you![1]

— Что-что? — не понял шутки солдат. — А ну-ка, пройдемте!

Слава Богу, мама, па-настоящему расплакавшись, сумела убедить подошедшего на шум прапорщика, что ее сын неумно пошутил, и после некоторого колебания тот разрешил нам ехать дальше. «Смотрите за сыном, мамаша», — предупредил, уходя.

«Северная» тетя встретила нас в Мончегорске, за много километров от своего дома.

Добирались до места на «персональном» грузовичке ее мужа. Ехали, сражаясь с бездорожьем, часа два. Поселок был расположен на самой границе, и, как я узнал потом, бездорожье было только с нашей стороны.

Тетин дом меня поразил: новый, светлый, просторный. Как самому уставшему, мне выделили отдельную комнату. Такой роскоши не было даже у «московской гостиничной мафии».

*

Спал я в ту первую ночь на севере, как убитый. Нехватки кислорода, о которой говорила тетя, совершенно не чувствовалось. Наоборот, мне казалось, что его слишком много: воздух был каким-то пронзительным.

---

[1] Меня зовут Мик Джаггер. Я из Англии. Документов при себе не имею, но могу для вас спеть! (англ.)

Утром в ванной услышал, как за тонкой стенкой на кухне мама взволнованно спрашивала-переспрашивала сестру:

— Неужели смогли сбежать? Двое? И что? Поймали? Зеки? Политические? Границу перешли, но финны выдали?

Я, ошарашенный, притих, замер.

— Да, и сейчас их поведут мимо нашего дома, — ответила тетя. — Улица-то в поселке одна.

Конечно же, узнав такое, я не мог не выйти подышать свежим воздухом. Мне, начитавшемуся книжек о героях-пограничниках и вражеских агентах, пытавшихся проникнуть к нам, хотелось увидеть если не самих шпионов, то хотя бы их пособников. Живыми, в натуральном виде.

Я стоял у калитки и ждал. Их все не вели. Близился полдень. Мама вышла позвать меня обедать. Подойдя ближе, тихо сказала:

— Это, сынок, не обычные зеки. Это политические, враги народа.

— Тем более, мама, я должен посмотреть.

И тут мы увидели приближавшуюся процессию.

Беглецов вели медленно, словно в назидание другим. Чтобы каждый мог их увидеть, рассмотреть, осознать неизбежность возмездия. Охраняли двоих арестованных солдаты и люди в штатском, всего человек двадцать. Будто боялись, что зеки даже в наручниках попытаются снова бежать.

Они шли молча. На лицах — отчаяние, безысходность. Они знали, куда шли, они знали, что будет дальше… Вспомнилась та давняя фраза, что после ненужной, ошибочной пункции я не жилец, и мне страстно захотелось каким-то образом приободрить беглецов, поддержать: «Я вот тоже… Но держусь…» Однако вымолвить что-либо был не в силах.

Много позже узнал, что этих двоих, осужденных в шестьдесят восьмом за участие в сидячей демонстрации на Красной площади в знак протеста против ввода войск в Чехословакию, к побегу готовила вся зона. Рассказывали, что найденный у них манифест начинался словами: «Мы, политические заключенные СССР, государства, которое утверждает, что нас нет…»

* * *

В поселке шло только финское телевидение. Я слушал непонятную речь, но в данном случае перевод и не был нужен: Леонида Ильича награждали очередной звездой героя.

«Добрый такой дедуля, — вглядывался я в экран, — побрякушки любит. Взгляд теплый. Улыбается. Разве он может кого обидеть?»

И вздрогнул от внезапно раздавшегося долгого и громкого звонка в дверь. Тетка открыла. Вошел мужчина в темно-сером костюме. Точно в таком же сидел перед всегда завешанным плотной шторой окном хозяин необычной минской квартиры. Взгляд у него был добрый-добрый, как у экранного дедули.

Я не испугался. Нисколько. Даже не встал с кресла. Вот только кислорода отчего-то вдруг стало и впрямь не хватать.

Под подушкой лежал «Иван Денисович».

Третья попытка

— Итак, повторяю, — повысил голос замполит, — кто прибежит первым, получит приз — отпуск на десять дней. Дни проезда домой и обратно засчитываться не будут. Вы, думаю, за эти полгода убедились: я вас ни разу не обманул. И ты, Рашид, если, конечно, победишь, попадешь в свою солнечную Туркмению. И ты, Виктор (с таким именем грех не выиграть!), если постараешься, обнимешь родителей в родном Красноярске. И у Олега есть возможность обрадовать маму и весь Академгородок под Новосибирском. И у Леонида появится шанс оказаться в своем далеком бульбашеском Минске.

Леонид — это я, если не коренной, то закоренелый белорус, попавший служить в алтайские степи случайно. В ту злополучную субботу тренер выдавал замуж дочку, запраздновался и забыл, как было условлено, забрать меня из облвоенкомата. Сутки я продержался. Объяснял ситуацию: мол, спортсмен, борец, жду представителя СКА КБВО[1] и так далее. Но на второй день проверяющий с тремя немаленькими звездами на погонах, наткнувшись на непорядок, возмутился:

— Что за блатной отлеживается? Исключение? Чемпион? А ну-ка в Сибирь его, пусть там почемпионит!

И послал меня большой начальник (пусть Бог наградит того полковника сибирским здоровьем, чтобы он еще сто лет жил и двести ползал) в те места, где самолеты как НЛО встречают.

— Итак, уточняю: приз только один, — продолжал замполит. — Второе и третье места не разыгрываются. Отмечу далее, что выигрыш победителя — уникальный. Для нашей роты, как вы знаете, понятия «отпуск» не существует. В такую уж часть вы попали, невыездную, секретную, — повезло, одним словом. Теперь — о маршруте. Кто хочет, может бежать по дороге — это где-то около четырнадцати километров. Любителям более коротких дистанций советую рискнуть и рвануть через поле — почти наполовину короче будет. Но это — вам решать.

К моему удивлению, состязаться за поездку домой изъявили желание все. Даже бурят с русским именем Вася, наркоман с желтыми нервно-мигающими глазами, и его дружок Петя Заборкин (про таких говорят: пить, курить, ходить и говорить начал одновременно) пристроились где-то сзади.

---

[1] Спортивный клуб армии Краснознаменного Белорусского военного округа.

Я решил бежать по дороге. Снега почти нет, в сапоги не набьется. Кирзачи, правда, тяжеловаты, зато вместо портянок, которые вечно сбиваются под пятку, ноги грели присланные из дома толстые шерстяные носочки. Что до веса сапог, то он в обоих случаях — величина неизменная. Поле же, вдобавок, прячет еще и загадку: а что там, под снегом?

Одним словом, дорога!

Подумал о конкурентах. Наибольшую опасность представлял Олег из новосибирского Академгородка — чемпион области в беге на четыреста и восемьсот метров. Он также оказался здесь случайно (а может, это была та самая случайность, в которой проявляется закономерность?). Далее шел футболист Виктор Переверзев, а за ним — представитель «общества друзей Японии», шустряк с тяжело произносимым именем, которое я вечно забывал (как, впрочем, не вспомнил и теперь), приблатненный, вечно озабоченный своим здоровьем боксер из Владивостока. Остальные сто солдатиков, сдается, останутся статистами. Но — не будем гадать, посмотрим.

— Раз-два, раз-два, — отсчитывал я шаги, выравнивая дыхание. — Ма-ма? Да-да-да! До-ма? Да-да-да!

Бежалось легко. Сразу удалось вырваться вперед. Летел, а в голове стучало: вдруг на такой темп до конца дистанции силенок не хватит? Остальные не так резво начали, а ведь среди них — чемпион Новосибирска.

«Будь что будет! — отчаянно отмахнулся от тревожных мыслей, не замедляя бега. — Ма-ма! Да-да-да! До-ма? Да-да-да!»

Футболист Виктор, искусный бомбардир, высланный тренером в степи на перевоспитание за строптивость характера, первым, видно, решил, что поле ему роднее заледеневшего асфальта. Нужно обязательно победить, чтобы оказаться дома. Он один во всем Алтае бьет и с левой, и с правой, как из пушки, а наклепанных институтами физкультуры тренеров на каждом километре по паре. Только бы вырваться, добраться хоть до какой захудалой команды — там покажет свои «мюллерские» ноги.

Ноги не сильно утопали в снегу, и Виктор надеялся, что так будет и дальше. Вот только чабан Рашид следом уцепился. Хотя, может, оно и к лучшему: с чабаном в степи уж точно не заблудишься.

Олег возглавил и вел группу погони за белорусом. Не волновался: «Это не восьмисотка, — говорил себе, — но и смельчак впереди — не чемпион в марафоне. Отсидимся, а там, перед казармами, — рванем! Спринтер я не последний. В отпуск поеду не домой, а в Адлер, на

отбор к Союзу. Еще успею. Умру, но в тройку войду! Хватит! Шутки кончились».

Безымянный боксер бежал по дороге, но вскоре испугался зеркального асфальта. Вспомнил, как однажды поскользнулся на ринге и, падая, получил увесистый хук справа. Такой увесистый, что после счета «десять!» еще долго ловил звезды с потолка. Из-за тех звезд теперь и бежит.

И он сиганул в поле, на что до этого отважились только двое: футболист и прилипший к нему тенью Рашид.

«Чурбан, конечно, от холода спечется, — прикинул безымянный, — а футболист — он же не боксер. Как там, на финише, сложится, никто не знает».

Все мечтали о победе, а ехавшего на «Урале» за основной группой замполита беспокоило другое: «Как выбить в дивизии обещанные победителю десять дней? Все зависит от генерала-тестя, но тот в последнее время был нервозен и непредсказуем: задерживался его перевод в Западную группу войск. Надо что-то придумать. Хотя мороз даже в машине пробирает, и всё идет к тому, что вряд ли кто вообще добежит до казармы. Вот и первые сдавшиеся голосуют — в машину просятся. Может, тесть не понадобится и придумывать ничего не придется»?

Я понял, что самое тяжелое — очередной глоток обжигающе ледяного воздуха. Понял это и организм, пошел мне навстречу. Горло, словно орошенное новокаином, онемело и не препятствовало дыханию. Группа преследования держалась цепко, но догнать пока не пыталась. «Может, выдержу такой темп до конца?» — спросил-обнадежил себя, делая новый глоток.

«А белорус сильнее, чем казалось, — прикидывал Олег. — Слонялся по казарме, скучал, все о чем-то думал, а сейчас прет, как паровоз. Словно подменили парня. Проблема с ним будет. Но ничего! Главное — сохранить силы для финиша. А после победы — в Крым!»

Боксер бежал вслед за футболистом. Когда почувствовал, что тот сдает, догнал его и, обходя, крикнул: «Я!». Нападающий понял: «японец», который пока ему союзник, дает возможность передохнуть от лидерства, и кивнул головой: «Давай!».

«Снег — не ледяная дорога, здесь меньше шансов поскользнуться», — подбадривал себя боксер. Он не замечал, что с каждым километром ноги вязли в снегу все глубже.

Мне казалось, будто лечу пулей, но, прикинув, что позади только треть дистанции, а времени прошло больше получаса, понял — ползу

черепахой. Однако осознал и другое: в такой гололед да при минус сорока это предельная для меня скорость.

Резко потемнело. Бежавшая полем троица исчезла. Как провалилась. В последние минуты они явно сбавили темп. Пахота началась или их приняла, как тут говорят, чужая земелька? Нет! Пока что — нет. Но — примет. (Так потом и случилось: забрала за два года каждого пятого из нас!)

А я все бежал. Бежал, чтобы выжить. Догнать судьбу…

Показалась казарма. Со стороны поля никто не появлялся, мои преследователи безнадежно отстали.

Командир роты стоял у входа и улыбался. «На грудь принял», — догадался я, подбегая. Трезвый он беспрерывно орал, учил уму-разуму: лечь-встать, лечь-встать, лечь-встать!

— Ну что, спо-рт-смен, — сказал сквозь икоту, — победил? Думаешь, так все просто? Нет, солдат. Сюрприз! Победа не засчитывается. Смотри! — капитан вывел из-за спины руку и махнул аккуратно сложенными портянками. — Под матрасом дневальный нашел! Молодец дневальный. Земляк твой, бульбаш, а честный. Небось в мамкиных носочках бежал? А? Не лучшее решение принял, солдат, неверное. Нарушение формы. И следовательно, нарушение устава. А что положено нарушителю устава? Только одно — гауптвахта.

Так закончилась моя третья за первые полгода службы-неволи попытка вырваться из алтайских степей на Родину.

Вырваться удастся с девятой. Через два года и тридцать четыре дня.

Вырваться — удастся, а вот догнать судьбу…

Скорая помощь

Я вернулся вчера. Два года в отрыве от дома! Волновался. Чувствовал, что неисправимо одичал, маршируя по бескрайним алтайским просторам. Ночь спал беспокойно. Очнулся к полудню. Оделся за сорок секунд. Точнее, за тридцать восемь. Привычка.

«Дикарь, дикарь, дикарь, — вертелось в голове доставшее во сне слово. — Ничего, главное — не отчаиваться. Прорвемся. Жизнь только начинается. Надо пройтись, продышаться, акклиматизироваться. Не сидеть сложа руки».

Вышел на улицу.

Лето. Тепло. Хорошо. Кругом — белорусочки. Красивые, сочные, знающие это.

Завелся. Улыбнулся. Остановил одну. Извинился. Культурно спросил:

— Не подскажете, который час?

Услышал неожиданно резкое:

— Шесть! Еще вопросы?

Подумал: «Отчего такой холод?» Ответил сам: «Все правильно! Без часов — какой ты кавалер, ухажер, джентльмен, заступник?»

Первый блин комом. Но нужно ли вешать нос? Все нормально. Пошел дальше. Не унывал, не отчаивался.

Нежно обратился ко второй:

— Случайно не знаете, как попасть в центр города?

— А где вы находитесь! — бросила она возмущенно. Явно хотела добавить: «Ну и кретин!»

Продолжать беседу не стал. И так все понятно.

Приближалась третья (может, повезет: Бог любит троицу). Мини и все такое летнее.

Набравшись опыта, стал умнее. Попробовал более оригинальное:

— Сумочка ваша, кажется, не из легких. Разрешите, помогу…

«У, бандюга!» — прочел в ее глазах.

Понял: предложение — не гениальное, снова — мимо. Но нервничать не стал. Оставил силы для последней попытки.

Не спешил. Ждал, смотрел, выбирал, надеялся.

Есть! Обыкновенная, без единой характерной черты. Серенькая-серенькая, невзрачненькая-невзрачненькая. Может, хоть с этой получится?

Сделал умные глаза.

— Извините за беспокойство, — глаза еще умнее, — но не могу не сказать вам комплимент. У вас очень хороший вкус. Сразу видно, что это платье шили сами.

Ответ услышал совсем не тот, на который рассчитывал.

— Дурак! — неожиданно расплакалась серенькая. Ткнула мне кулачишком в глаз и убежала. Вот тебе и серенькая.

«Не мой день, — провел ее уцелевшим глазом, — не мой».

Накатила печаль. Приуныл. Забрел в парк. Нашел скамейку. Сломанную. На одной из окраинных аллей. Сел.

Тишина. Ни одной красавицы. Ни одной живой души. Алтай!

Задумался: «Да, я — дикарь, и никуда от этого не деться. Искалечены гены, структура, мозг». Пересохло во рту. На губах — горечь. Заныло сердце, забилось, как брошенная в клетку птица, рвалось из груди. Шло вразнос. Снова. Как на Алтае.

Закружилась голова. Сопротивлялся. Пытался дышать ровно. Не отпускало. Но еще кое-что видел.

Увидел ее. Подошла:

— Что с вами? Вам плохо? Вам помочь?

— Спасибо, — ответил, но голоса своего не узнал. Не тот голос. Подумал: «За секунду три раза на “вы” обратилась. Хорошая». Попросил: — Если можно, присядьте.

Посмотрела:

— Вы кто?

— Не волнуйтесь, — старался улыбнуться. — Я свой, такой же, один.

Поняла. Поверила. Присела. Повела плечами. Вновь с тревогой спросила:

— Может, вызвать «скорую»?

Я смотрел на нее, красивую, взволнованную, переживающую. Просыпался. Возвращался домой. Отходил от Алтая.

— Спасибо. Не стоит. Мне лучше. Вы помогли. Очень сильно…

Я смотрел ей в глаза. В глаза любимой.

Болело загнанное в степях сердце.

Как я был счастлив!

Мы ждали

Осторожно, как бы опасаясь с кем-нибудь столкнуться, Дед приоткрывал потертую, измученную долгой жизнью и, видно, оттого недовольно скрипевшую дверь районного шахматного клуба. Поначалу заглядывал, близоруко щурился, всматривался — есть ли кто в холле? Если кто-нибудь был — здоровался и извинялся за беспокойство. Потом делал осторожный шаг назад, и только затем в дверях показывалась маленькая красотулька — Аленький цветочек — его внучка Диночка. Дед был не высокий, но не сгорбленный, даже подтянутый, в досмотренном, хотя и давным-давно вышедшем из моды, коротком, как телогрейка, пальто. В февральский пронизывающий холод на нем были легкие демисезонные полуботинки, которые он потихоньку и тщательно обивал тут же у дверей. С улыбкой приговаривал:

— Вы только посмотрите, как намело! Словно в старые времена.

Рядом с Дедом постукивала ножкой о ножку, тоже улыбалась и смотрела на него с нескрываемой любовью Диночка. Старик помогал внучке снять купленную на вырост курточку, поправлял у нее на шее платок (закрывавший застиранный до бесцветности воротничок платья) и переобувал свою красавицу: менял сапожки на вязанные из грубой шерсти тапочки. Не вставая с корточек, легонько хлопал ее ладонью по плечикам, как бы говорил: все хорошо, маленькая, я — здесь. Затем сжимал худые, в синих прожилках пальцы правой руки в кулак — не сильно, а символически: «Но пасаран». В ответ Дина поднимала свой кулачок, прикасалась им к Дедову, заговорщически, почти неслышно шептала: «Мы — вместе, и мы — победим!».

После неизменного обряда малышка, минуя портреты чемпионов мира, направлялась на второй этаж в большой светлый зал, уставленный по периметру видавшими виды столами с шахматными часами и многочисленными, разнообразными по форме и времени изготовления стульями. (Один из стульев каким-то чудом сохранился с царских пор.)

Уже с полгода в клубе было заведено, что Дина (приходившая с Дедом, как правило, несколько раньше начала занятий) садилась за ближайший от входа стол на тот самый дореволюционный, с высокой резной спинкой дубовый стул-кресло и ждала соперника. Ее место никто никогда не занимал, а партнеров главный тренер (взявший над девочкой персональное шефство) к ней подсаживал каждый раз новых и в очередности, понятной только ему.

Когда главный отпускал «будущую чемпионку», как он ее величал, домой, глаза у девочки независимо от того, выигрывала она или проигрывала, загорались, и, соскользнув со стула, чуть успев сказать: «Спасибо!» и «До свидания!», малышка летела на первый этаж — к Деду. Летела, как будто не видела его не час-другой, а много-много дней.

Кто-то сказал: «Пока у нас есть тот, кого мы любим, мы — живем».

Мы любили Деда и Аленький цветочек.

По весне, накануне восьмого марта, мне наконец-то заплатили за вышедший год назад сборник рассказов. Сумма была не ахти какая, но все же она позволяла, кроме всего прочего, осуществить и задумку, которая не давала мне в последнее время покоя: купить малышке (а она, как я понял, росла без родителей) присмотренную в «шопе» для богатых, так называемом бутике, шикарную итальянскую «школьную форму». От комплекта было не отвести глаз: элегантная темно-синяя велюровая макси-юбка, такого же цвета, но с серебристой окантовкой экстравагантный жакет и белоснежный, из мягчайшего хлопка, чудо-блейзер. Гонорара должно было хватить и на заполярные, как рекламировали два веселых белых медведя на упаковке, сапоги: не мог смотреть, как Дед морозит ноги.

Каждый раз, когда я заходил проверить, не опередил ли меня какой-нибудь везунчик, хозяин магазина, обычно лично наблюдавший за обстановкой в зале, не без иронии улыбался, но все же старался делать это незаметно: прикрывал, как бы от кашля, рот или отводил глаза в сторону. И насколько же он был удивлен, когда однажды я подошел к кассе и попросил снять с вешалки синий комплект, а сапоги положить в коробку. Ироничный взгляд хозяина сменился вопросительным, а тонкие губы расплылись в любезной улыбке.

— Кхе-кхе, — подал он голос из-за спины пестро разодетой, не в меру напудренной, чем-то схожей со скучавшим за нею в углу манекеном продавщицы. Та перестала укладывать покупки в яркие оранжево-салатовые пакеты с надписью «Версаче», обернулась. — Ира, — показал босс на полку. — Не забудь для уважаемого покупателя к роскошной тройке присовокупить и этот чудесный бант.

— Но он же не входит в комплект... — попыталась было возразить продавщица.

— Взгляните, дорогой товарищ, какое великолепное сочетание! — перебил, будто не слышав ее, хозяин, обращаясь уже ко мне.

«Вот те на! — удивился я. — Даже new russian на презент раскошелился, когда увидел, что я выгреб из кошелька все до

последней копейки. И слово “товарищ” не забыл. Видно, соколик еще той, брежневской закваски».

Вещи были куплены, оставалось собраться с духом их вручить. Дина и Дед — люди небогатые, но гордости им было не занимать. Вряд ли примут подарки от чужого, в сущности, человека. Пришлось пофантазировать, придумать причину. «Пожалуй, скажу так, — в конце концов решил я. — Вещи прислала родня из Америки. Одежда там копейки стоит, так что буржуи особо себя не обокрали. А вот с размерами, увы, родственнички напутали — разные в наших странах единицы измерения: у них там какие-то дюймы, у нас — родные сантиметры. Вот и не подошли обновки ни мне, ни племяннице. Я вас очень прошу, примите от чистого сердца! Откажете — поставите в неловкое положение. Связываться с комиссионкой совершенно не хотелось бы. Я же вроде какой-никакой вахтер — тире — писатель, а не мешочник. Можно было бы, конечно, вручить все это и первому встречному-поперечному, но почему я не могу сделать приятное тем, кому хотел бы?»

В последний предпраздничный день, в последнюю предпраздничную тренировку, заучив этот текст, я решился осуществить задуманное.

Все уже сидели за столами, и вот-вот должны были начаться сеансы. Должны были, но — не начинались. Никто не сделал и первого хода: отсутствовала малышка! Так уж повелось, что баталии всегда стартовали с напутствия главного тренера: «Чемпионка готова? Что ж, тогда — в бой!» Но напутствия не следовало, и соперники ждали. Ждал и тренер. Тот же, кому сегодня нужно было играть с Диной, — вечно жующий толстяк Паша, по кличке Паштет, — вообще не смел сесть за стол, от волнения он даже жевать перестал. Вышел и я из своего писательского кабинета — вахтерского уголка: не терпелось вручить эксклюзивы от знаменитого итальянского модника. Все притихли, словно сговорились: ждали — Дед и Аленький цветочек придут, иначе и быть не может.

— Секундочку! — ожил я первым. — И как сразу не сообразил! Видно, дверь захлопнулась! Уже дня два, как замок ни с того ни с сего заедает. Сбегаю-ка проверю.

В несколько прыжков преодолел оба пролета и оказался у двери. Потянул алюминиевую ручку-шар на себя. Дверь открылась, но малышки с Дедом за ней не было. Снег, небо, луна, звезды были на месте, а Деда с Диной не было. Показалось, что нет и меня, нет и вечно скрипящей двери, нет нашего сто лет неремонтированного

шахматного клуба, нет нашей планеты, нет ничего! Только луна и звезды.

Но все было.

В то мгновение, когда я крикнул: «Секундочку!», у папы малышки (старик в старомодном пальто, оказывается, был ее отцом!) затихло сердце. Надломленное за восемь лет лагеря (за ввоз в страну и распространение антисоветских изданий он получил по полной программе — сталинскую «десятку», но пришли «новые времена» и его амнистировали), оно не выдержало автобусной душегубки, выжженного дрянным обогревом бескислородного воздуха. Малышка тихонько потрогала папку за ухо, за щеку: будила. Она была умная и скоро все поняла. Вспомнила: «Ты у меня самая смелая!» Вспомнила — и не испугалась, не закричала. Прислонилась к папкиному плечу и взяла его за руку. Беззвучно заплакала. Уже никогда эта родная в синих прожилках рука не погладит ее: «Все хорошо, моя маленькая, я — здесь».

Так они и ехали 7 марта 199... года.

А мы их ждали.

Санька: 1. Валюша

«Какой у меня сынуля молодец», — вздохнула Валюша, глядя на заснувшего Саньку. В этом ледяном погребе, пропитанном ненавистным ей запахом проросшей картошки, они продержались всю осень. Особенно тяжело дался последний месяц. Ноябрь никогда не бывал в их краях теплым, но такого, чтобы изо дня в день холод, ветер и ни снежинки смягчающего снега, она не помнила. И чем прогневила Бога? За что несчастья одно за другим сыплются на нее? Этот прогнивший погреб сведет ее в могилу. Да что ее! Себя не жалко. Вот Санька! Ему-то за что достались такие муки? Сынуля, конечно же, молодец, молчит, не жалуется. Только когда его худое тельце охватывает дрожь, обнимает ее и шепчет: «Мамка, мамка, а скоро лето?»

У Валюши снова покатились слезы, что-то неуловимое сдавило грудь. Она чуть было не зарыдала от бессилия и боли, но взяла себя в руки, быстренько закрыла ладонью рот: Санька только-только уснул и мог проснуться от малейшего звука. Спал он беспокойно. Как ни старалась Валюша прижать его к себе, согреть своим телом, это не очень помогало: к утру и сама покрывалась пупырышками от пронизывающего холода, а носа и щек почти не чувствовала.

Задолго до рассвета Валюша осторожно, на ощупь, поднималась по стертым, скользким от плесени ступенькам наверх и попадала на крохотную кухоньку. Не включая свет, чтобы не разбудить вечно недовольную хозяйку, разжигала керосинку и тихонько ставила на нее кружку с водой: готовила себе и сыну чай. Слава Богу, выходные пережили, теперь Санька снова целых пять дней будет в тепле в детском саду.

В сад они приезжали очень рано — за час, а то и раньше, прежде чем первые родители приводили своих детей: хотелось скорее окунуться в тепло. Благо, Валюша знала, что старику сторожу, чудом оставшемуся в живых в голодные послевоенные в Северо-Уральском концлагере, не спалось и он слышал их издалека. Валюша и в дверь не поспеет постучать, а она, словно волшебная, открывалась сама, и улыбающийся Викентий Львович приветствовал их оживляющим:

— Ну что, ранние пташечки, замерзли, пока добирались? Быстренько проскакивайте! Быстренько!

И они проскакивали. И сразу же направлялись в просторную комнату заведующей, устраивались там на небольшом диванчике, придвинутом почти вплотную к батарее.

Тепло-то как!

Не мешкая, Викентий Львович угощал их домашними пирожками с вареньем или капустой, испеченными его хозяюшкой — так он называл свою половину, бывшую узницу того же Северо-Уральского (к восьми годам концлагерей приговорили шестнадцатилетнюю дочку врага народа — священника Минского Петро-Павловского собора). Из старенького термоса наливал в широкие чайные чашки кофе. Рядом ставил кружку с молоком.

Быть может, именно минуты, проведенные вместе с Викентием Львовичем, и помогали Валюше продержаться выходные, вернее — субботу и воскресенье, потому что выходными эти черные, холодные, с впившимся в легкие запахом гнилой картошки дни ей назвать тяжело. Можно было бы, конечно, пойти в кинотеатр или в цирк. Но для этого нужны деньги, а их вечно не хватало. Ни разу Валюша не смогла продержаться от зарплаты до аванса, не одолжив. Не получалось у нее тотальной экономии. Возьмет да и купит сыну апельсин, шоколадку или его любимый бело-розовый зефир в брикетиках. Спохватится, а трех, а то и четырех рублей — ее зарплаты за день — нет! Так и не научилась Валюша городской жизни, раскладыванию семейного бюджета по полочкам. Да и какие там бюджет и семья! Она и Санька. Был у них, как у людей, отец и муж, но беда увела.

Это случилось пять лет назад. Чужие — именно чужими Валюша потом их все время и называла — заявились к ним в одну из февральских ночей. Заявились, словно ждали того момента, когда Владимир привезет ее с Санькой из роддома. Пришли и забрали мужа. Они не успели даже Саньку уложить спать.

Чужие ничего не объясняли, не требовали, даже не повышали голоса. Молча обыскали их две еще не обжитые — с кроватью, небольшим буфетом, обеденным столом и несколькими табуретками — недавно пристроенные к дому родителей комнаты и, обращаясь к Владимиру, сказали только одно слово:

— Собирайтесь.

Сказали и вышли. Культурными себя выставляли — дали собраться. Молчал, словно заговоренный, и Владимир. «Какая-то общая тайна объединяла его и чужих», — подумала тогда Валюша. Позже родители мужа просветили: «Сын не хотел, чтобы ты знала, что арестован он как политический, а значит, как предатель родины».

«Неужели тридцатые годы вернулись?» — ужаснулась Валюша. Бабушка рассказывала, как тогда, так же ночью, энкавэдисты арестовали деда. И больше они его не видели.

Валюша мужа увидела… Вскоре. В последний раз…

Уже который день простаивала она у ворот тюрьмы до темноты. Простаивала напрасно — свидания ей так и не давали. Не чувствуя подкашивавшихся ног и едва не сходя с ума — как там Санька? — снова ни с чем возвращалась домой.

Еще издали увидела какого-то мужчину, лежавшего у их калитки. Вдруг он приподнял голову и стал водить, словно слепой, по калитке руками, не иначе пытался открыть ее. Валюша не испугалась: человек был, вероятно, болен, а не пьян. Подбежала, наклонилась помочь ему и — пошатнулась, едва не потеряв сознание: это был Владимир.

Он не успел объяснить, что с ним случилось: впал в забытье. В забытье его и в больницу забрали. Позже перевезли в другую. Через год — в третью, в другой город. Там след его и потерялся. Сказали, что больной пошел на поправку и его выписали: в семье, мол, быстрее выздоровеет. Но выздоравливать Владимир не пришел... Валюша не успокаивалась, ездила, писала, искала мужа, добивалась справедливости: кто избил его до беспамятства, за что, почему выписали, не предупредив? Пробилась в приемную высокого начальника из органов, но тот с усмешкой отмахнулся: «Да вы в своем уме?! На что намекаете! С чего началось? С ареста? Э-е... Здесь, знаете ли, не гестапо, уважаемая. Вашего мужа и пальцем никто не трогал. Провели лишь профилактическую беседу. А что же вы думали? Знаете, кем был его отец?» Валюша знала — но не опускала рук, искала, надеялась...

Как-то, на третий год после исчезновения Владимира, ее вызвали в партком комбината. Она пошла на комбинат, когда Саньке только-только два годика исполнилось. А что было делать? Вслед за исчезновением мужа умерла свекровь, и дальняя родня, воспользовавшись отсутствием прямого наследника, дом продала. Валюша с сыном оказались на улице. Тогда-то она и пошла в ученицы на комбинат. И еще рада была, ведь Саньку взяли в комбинатовский детский садик. Через месяц-другой стала самостоятельно за станок, старалась, сил не жалела. Вскоре заметили ее, в бригадиры выбрали, поставили старшей над такими же недавними ученицами, как сама, обещали выделить комнату в общежитии, направить на учебу в техникум. Потому и не волновалась, идя в партком. И только уже у самих дверей ёкнуло у нее сердце: не к добру это!

В большом светлом кабинете строго предупредили: не гоже отвлекать, безосновательно, беспричинно дергать ответственных советских и партийных товарищей. И неожиданно добавили: «Вы что, по деревне соскучились?» Не намек это, поняла Валюша, — угроза.

Испугалась. В деревню, где не было даже света? Никогда! В их Заболотье не то что света или газа — дороги нет. Правда, и власть советская туда не дошла в полном объеме. Продержались как-то хутора. Притаились в 30-е, а в 40-е было не до них, в 50—60-е — вроде тоже. Так и простояли — без дороги, без света. Всю жизнь без света. Кругом болото, болото, болото. Возвращаться туда Валюша не хотела. В городе, даже в этом холодном и сыром погребе, была хоть надежда. Маленькая, как окошко в их комнатенке, но была.

Викентий Львович помог снять Валюше пальтишко. Раньше она старалась делать это сама: стеснялась выставлять на свет стершуюся местами подкладку. Но потом перестала. Викентий Львович корректно никогда и ни о чем не спрашивал, рассказывал-веселил их больше сам. Валюша удивлялась, как после стольких лет заключения можно было остаться человеком улыбчивым, добродушным, во многом даже наивным, верующим в лучшее завтра. Рядом с ним и она, Валюша, чувствовала себя увереннее, благодаря ему не сдалась, не сломалась.

— Мой маленький человечек, — с юморным, как всегда, подвохом подступился к Саньке Викентий Львович. — А знаешь ли, чем отличается добрый представитель рода человеческого от злого?

— Знаю! — с ходу ответил Санька. — Добрый — это вы, дядя Викентий. Добрый — тот, кто дает тепло. Мама тоже добрая. Злая — наша хозяйка. Не разрешает утром свет включать. Вот мама и посбивала в темноте ноги о ступеньки...

— Пейте кофеек, остынет ведь! — попытался Викентий Львович отвлечь Саньку от нерадостных мыслей. — И печенье берите.

*

Теплые детсадовские дни пролетели для Саньки в одно мгновение.

Глубоким субботним вечером он лежал в подвальчике на телогрейке, служившей ему матрасом, и смотрел на маленькую, но очень яркую звездочку. Смотрел и удивлялся: от нее исходило тепло. Через их вросшее в землю, обработанное временем, словно наждачной бумагой, окошко не может пройти не только холодный свет далекой звезды, но и яркий луч громадного солнца. От чего же тепло? Санька улыбался. Во сне. Он любил, когда приходили сны. Только там и был счастлив. А еще — когда его целовала мама и когда их встречал на пороге детского сада седой до последнего волоска дядя Викентий.

Этой ночью пошел снег, и сразу куда-то подевался ветер, а с ним и холод. Потеплело. Они проспали с мамой до рассвета. В первый раз

они смеялись утром. Снег! Санька был счастлив. С рассветом пришла не дрожь, не всеохватывающий, словно за ночь отдохнувший, а теперь с новой силой вцепившийся в тебя холод, а тепло снежного утра, непривычное и радостное.

«Вот бы так всегда!» — улыбнулся Санька, прикоснувшись к маминым рукам.

«Только не раскрывайся, маленький», — впервые без грусти улыбнулась мама и спрятала руки сына под одеялко.

Спустя десятилетия сотрется в Санькиной памяти и тот подвальчик, и его злая хозяйка, и еще многое неприятное, от чего избавляется человеческая память, защищая неокрепший, юный организм от злого, ненужного, несущего отрицательный разрушающий заряд. Не забудет Санька только мамины глаза. Будет помнить их и после того, когда они навсегда закроются.

«Только не раскрывайся, маленький», — предупреждали они в трудные минуты.

Санька: 2. Санька

Вот так сократил путь — пошел напрямик, через парк, поленился автобуса подождать. Вот так сократил путь... Правда, «двадцать четвертый» ходил в круговую, так что вроде бы правильно поступил, но лучше было бы его подождать... И бежать кинулся рано! До выхода из парка еще сотня — не меньше! — метров, и приставший к нему мужчина с прилизанными, точно мокрыми волосами может его догнать. И что дяде нужно? Возник, словно фокусник. Не было никого на дорожке, и на тебе — есть. Будто вырос из-под земли. Заулыбался, сразу же похвалил:

— Какой красивый мальчик, какой красивый мальчик! Наверное, еще и отличник? Угадал? Уважаю отличников. Особенно красивых.

«Почему только отличников? — заволновался Санька. — И почему красивых — особенно?»

Прилизанный мужчина, одетый в добротный коричневый костюм, светло-бежевую рубашку с широким по моде галстуком, выглядел чинно и достойно, но что-то Саньку в нем настораживало. Что? Запах! Мужчина словно насквозь был пропитан кружившим до тошноты голову приторным одеколоном. И еще — взгляд: бегающий, будто кого-то ловящий или ищущий.

— Мальчик! — по-отцовски похлопал Саньку по плечу незнакомец. Оглядевшись по сторонам и убедившись, что они на парковой дорожке одни, добавил: — Словно знал, что тебя встречу. Смотри, что у меня есть. Шоколадка! С орехами, пористая, ненашенская. Конечно же, это тебе. Бери-бери, не стесняйся. Пробовал такую? Она вкусная, очень вкусная, честно говорю. — Рука незнакомца, скользнув по Санькиному плечу, остановилась на шее. — Бери, кушай...

И вот тогда-то, испуганный предчувствием чего-то страшного, Санька, не проронив ни слова, кинулся бежать. И правильно поступил. Это был единственный шанс спастись от разыскиваемого по всему городу насильника, убийцы детей. Мальчишек. Санькина мама читала в газете, что преступник по специальности, скорее всего, педагог (так предполагали в милиции) и обладает даром гипнотизера, способностью несколькими ласковыми словами заворожить ребенка. И когда мальчик доверительно расслаблялся и терял настороженность к чужому дяде, насильник наносил удар — неожиданный, резкий и, как правило, сзади. Отнеся маленькую жертву в кусты, совершал свое гнусное и жестокое дело. Одного в милиции не могли понять: зачем, неоправданно рискуя попасться с вещдоком, маньяк забирал с собой

трусики ребенка? Ответ был недопустимо прост: на память об очередной жертве. Каждый свой выход насильник тщательно продумывал, анализируя поведение прежних жертв, обобщал и унифицировал накопленный опыт. И еще ни разу не оставил следов.

Не должен он был оставить их и теперь, как и Саньке — жизнь.

До забора, опоясывающего Парк культуры и отдыха имени Челюскинцев, оставалось совсем чуть-чуть, когда цепкая рука незнакомца дотянулась до мальчика и ухватила его за шиворот. Санька рванулся из последних сил. Хлопчатобумажная майка не выдержала, разорвалась, и с клоком ее в руке прилизанный мужчина, готовый вот-вот придавить мальчишку к земле, сам ткнулся в нее носом. Глотнув поднявшуюся пыль и инстинктивно кашлянув, маньяк грубо выругался.

Все же зря народ прозвал его учителем.

Страх обычно сковывает тело. Саньке, наоборот, придал сил. Он прыгнул на высокий дощатый забор и ухватился за его острый верх. С пронзительной болью почувствовал, как что-то впилось в ладонь. Успел подумать: «Наверное, не загнутый гвоздь». Превозмогая боль, собственным вскриком заставил себя подтянуться и закинуть по ту сторону забора правую ногу.

Но не мешкал и незнакомец. Быстро вскочил на ноги и, отплевываясь, бросился к забору, на котором висел маленький беглец и вот-вот мог спрыгнуть вниз.

На всю оставшуюся жизнь слово секунда будет означать для Саньки нечто другое, чем для большинства людей на земле. Секунда для Саньки станет не мгновением, а нечем очень долгим, длиною в жизнь, ибо секунда эту жизнь Саньке и спасла. Насильник налетел на забор аккурат через секунду после того, как и вторая Санькина нога оказалась по ту сторону. Забор зашатался, и мальчишка едва не перекулился назад. Спасла сила тяжести — Санька был уже по ту сторону, и забор, спружинив, сбросил его в небольшой ров, выкопанный вдоль ограды специально, чтобы не так-то просто было попасть в парк.

Санька упал неудачно: подвернул левую ногу, а с правой слетел новый китайский кед. Он долго мечтал о такой обувке (легкой, крепко склеенной), и как-то маме удалось, выстояв полдня в очереди, купить долгожданную обновку. Санька потянулся было к кеду, чтобы его поднять, но показалось, что забор не просто шатается, а — падает на него. Опершись на землю коленкой подвернутой ноги и оттолкнувшись здоровой, он выкатился изо рва и вскочил с земли. Подпрыгивая и ковыляя, двинулся в сторону автобусной остановки.

Надо было бы позвать на помощь — там стояли люди, они бы услышали, но губы словно приросли одна к другой, и Санька, хныча и посапывая, приближался к спасительной остановке молча.

Искаженное болью и страхом лицо Саньки наконец-то просветлело: на остановке стоял знакомый парень из соседнего двора, студент университета и вдобавок — самбист. Санька махнул ему рукой — и не удержался, ступил на больную ногу. От резкой боли в голове все пошло кругом и Санька, теряя сознание, разжал губы:

— Помогите!

До студента-самбиста долетел этот зов. Он обернулся. Увидел, как Санька, словно подкошенный, падал на землю.

«Споткнулся? А почему не встает? — озабоченно покачал головой. — Что-то с парнем неладное». И направился в Санькину сторону.

А за забором, тяжело дыша, бежал «учитель». Вернее, убегал. Это была его первая неудача. «А значит, — осознал с ужасом, — придет и вторая, и третья». И, следовательно, рано или поздно его поймают! Этот щенок включил ему счетчик. Не расслабился при виде сладкого, не стал слушать хвалебные слова. Какой-то не детской интуицией учуял опасность и бросился бежать. Еще бы одна секунда, всего одна! Ее-то как раз и не хватило. С этого сорвавшегося мгновения время для него полетит — куда? Мальчишка опишет его внешность, рост, голос, даст ищейкам зацепку. А этим собакам ничего больше и не нужно — разматывать клубок они умеют.

«Учитель» приближался к другому концу парка. Здесь аллея выходила за изгородь и вела к проходной завода.

— Ф-у-у, — с силой выдохнул, пытаясь успокоить дыхание.

Над проходной стрелки часов перескочили с 16.29 на 16.30. Тут же раздавшийся звонок известил о конце смены. Народ толпой повалил на улицу. «Учитель» подождал, пока первый поток минет два почти сросшихся, словно сиамские близнецы, тополя, за которыми он затаился, и, незаметно пристроившись к людям, зашагал в ногу со всеми, потерявшись в толпе. Как всегда, успел. Только раньше успевал и дело сделать, и вернуться к концу смены. Теперь — лишь последнее. «Проклятый щенок! Он явно живет где-то поблизости. Может случайно встретить, узнать... Надо опередить! Обойти дворы, выловить его, пока не поздно...»

Санька очнулся на руках у соседа-самбиста.

— Живой? — услышал знакомый, никогда не унывающий голос. — Куда несся, словно от дикой собаки спасался? Вроде здесь таких не водилось.

— Теперь завелась, — ответил Санька и, сильнее обняв своего спасителя, снова забылся.

Когда сосед внес Саньку в квартиру, тот в беспамятстве не почувствовал приторный запах уже знакомого ему одеколона. Не чувствовал его и сын «учителя» — он к нему привык.

Санька: 3. Прыжок

Санька стоял и мучительно думал. Мысли крутились в голове, набегали одна на одну, но легче от этого не становилось. Ясно было одно: «Жорик — легкоатлет, весь год после уроков на “Динамо” пропадал, ему перед каникулами даже настоящие шиповки и костюм спортивный выдали, хвастался ими на переменке. Как же прыгнуть дальше Жорика? Он и отталкивается в двух-трех сантиметрах от дощечки. Опыт, понятное дело. Оттого и идеальное попадание. Как же махануть дальше Жорика? Возможно ли такое? Вряд ли. Но и сдаться без боя — последнее дело. Думать надо, думать... А если не просто разбежаться и оттолкнуться, а в прыжке еще и сальто крутануть? Вращение должно удлинить полет, — предположил Санька, — а значит, и увеличить дальность прыжка...»

Он много чего и разного испытал в своей, как ему казалось, долгой двенадцатилетней жизни. И по горящим углям кострища босиком прохаживался — проверял силу воли. И под водой полторы минуты в ванной продержался. И с третьего этажа прыгал, как десантник в фильме. И на руках через школьный спортзал от стены до стены прошел – на спор с учителем физкультуры. И без тех самых рук на велосипеде километр прокатился — уже по-другому учился равновесие держать. И еще многое пробовал и испытывал. Но вот на сальто замахиваться не решался: а вдруг не так приземлится и сломает спину?

Сейчас тоже боялся. Но сейчас чуть в стороне от прыжковой ямы стояла Лена. Самая красивая в лагере девчонка.

На четыре пятьдесят восемь — дальше всех — прыгнул Жорик.

— У-ух! – пронеслось эхо вслед его полету.

Лена тоже ахнула и захлопала в ладоши.

«Только сальто!» — прошептал, пытаясь сосредоточиться, Санька. И когда подошел его черед, решительно вышел на старт и, словно со злости, с силой топнув ногой по земле, понесся по дорожке для разбега что было сил.

И вот она, яма.

— Опа! — оттолкнулся и полетел. В воздухе нырнул головой вниз, под себя. Не успел понять, получилось задуманное или нет, — врезался плечом в песок. Что-то хрустнуло в теле, но боли не почувствовал — по инерции перекатился через себя и... сел. Есть сальто! И совсем не страшно. А на сколько хоть прыгнул? Обернулся посмотреть, но невыносимая боль — аж в глазах потемнело — уложила его на землю.

Откуда-то пришла тишина.

Санька лежал и смотрел на небо. Оно было синее-синее, как Ленкины глаза. Вдруг на небе появилась рыжая голова Жорика. Нарушив тишину, она заохала и заахала:

— За пять метров улетел! Но так — нечестно. Это же не акробатика!

Следом появилась голова Михаила Ульяновича, лагерного физрука, бывшего призера олимпиады по борьбе, друга легендарного «тяжа» Медведя:

— Я знал, что этот шустрик устроит какой-нибудь сюрприз! Такие всегда что-нибудь да выкаблучивают.

Где-то вдалеке, на самом краю неба, мелькнули обеспокоенные Ленкины глаза. «Вот смельчак!» — восхитились и исчезли.

Санька попытался приподняться, но Михаил Ульянович попридержал его:

— Нет уж, лежи! И придумал же такое! Дай-ка посмотрю, что у тебя… Тихо, тихо, я осторожно. Здесь болит?

— Ой, — застонал Санька.

— Ясно, допрыгался: ключицу сломал. Потерпи-ка, потерпи, — Михаил Ульянович подложил руку Саньке под плечи, вторую — под колени. – А ну-ка, встали… Держись, чемпион, ты ведь дальше всех улетел.

Крепкие руки подхватили Саньку и понесли в медпункт. Перед мальчишкой вновь открылось небо. Но сейчас оно качалось. То наплывали, то отплывали сосны. Снова появилась Лена. Санька попытался улыбнуться, но не смог. Страшная боль пронзала тело — казалось, в сломанную ключицу вбили гвоздь. Увидев, что мальчишке совсем плохо, Михаил Ульянович перешел с шага на бег…

А Саньке снился сон.

Он стоял и мучительно думал…

— Поднимайся, соня, в лагерь опоздаешь, — разбудила «чемпиона» мама. – Автобус в девять отъезжает.

Санька: 4. Велик

«Конечно же, дорожный — не спортивный, да что поделаешь, — вздохнул Санька, — и за это спасибо Богу! Новенький ведь, черно-серебристый, для взрослых — на всю жизнь хватит».

Маме, чтобы после такой покупки до конца месяца дожить, пришлось у соседки, тети Евы, занять с отдачей в рассрочку. Сумма ведь немаленькая — шестьдесят рублей. Хорошо, когда есть соседи, готовые выручить.

Мама не хотела покупать велик, как чувствовала. И оказалось — правильно чувствовала. Пока с Санькой съездили в магазин, выбрали, заплатили, привезли — к вечеру дело подошло. Нужно было, конечно, «колеса» в квартиру затащить и с утра начать крутить педали. Но Санька не выдержал! Подняв велик уже на пятый этаж, неожиданно передумал и не покатил в квартиру — ну как не похвастаться перед ребятами такой покупкой?! И спустил обновку вниз, во двор. Катался сам, катались и друзья — по очереди — до полуночи. Носились бы и дальше, да мама погнала спать. Санька так устал, что снова волочь велик на пятый этаж поленился. Недолго думая, скатил свою радость по ступенькам в подвал: «Пусть до утра отдохнет». За двумя дверями будет храниться: обшитой железом входной в подвал и дощатой дверью сарайчика, усиленной, благодаря мужу тети Евы, амбарным замком.

Всю ночь Санька объезжал новый, еще пахнущий свежей краской и смазкой велик. Проснулся — в нетерпении — на рассвете, тихонько, чтобы не разбудить маму, взял ключи и спустился вниз. Но ключи не понадобились: входная дверь в подвал, вывороченная с петель, валялась у входа. Дверь в их сарайчик вообще отсутствовала. Отсутствовал, само собою, и Санькин новенький черно-серебристый «вседорожник». Запах свежей заводской смазки остался, а велика — не было.

Не сразу Санька поверил в пропажу. Мелькнула была мысль: это сон, все происходит во сне, он еще не проснулся. Проснется — и велик будет на месте, как и обе двери. Главное — проснуться, проснуться… И вдруг ожегся: дудки, ничего не будет! Это не сон. Двери взломаны! Велика — нет! А долг у мамы — остался. Его мама будет выплачивать по частям. Как договорились — чтобы не так больно было для семейного бюджета.

Кажется, Санька тогда впервые так жестоко столкнулся с ворами. Вернее, не с ними самими, а с результатом их подлой работы.

Он был убит, раздавлен. Слезы сами катили по щекам. Лились и лились.

«Нет! — пытался остановить Санька слезный поток. — Пусть это не сон, пусть. Но тогда — шутка. Чья-то злая и глупая шутка. Шутник где-то катается по двору и ждет, чтобы посмеяться надо мной: “Ну что, наделал в штаны? Ха-ха-ха!”». И вновь возвращался в реальность: «Шутник? А как же выломанные, сорванные с петель двери? Это что — тоже шуточки?».

Мало что соображая, Санька выполз из подвала. В меркнувшей надежде оглянулся по сторонам: где же ты, где? Велика нигде не было. Никого не было. Двор еще спал: выходной, воскресенье.

Появившийся ближе к вечеру участковый был, на удивление, спокоен. Санька и мама аж возмутились: велосипед же украли, не пуговицу какую или другую мелочь! А милиционер успокоил:

— Велик свистнули? Ну и что? Их каждый день воруют. Беречь нужно было «колеса», глаз не спускать. Сам виноват, парень, нашел где ставить. — Напоследок дал дельный совет: — Походи по дворам. На велосипеде — не на машине, далеко не уедешь.

Уехал Санькин велик. И, видно, далеко, ибо так и не нашел он своего вседорожника, хотя месяца два пристально обходил близкие и дальние дворы.

Участковый сказал: «Найдете — звоните».

Наука пошла на пользу. Больше никогда в жизни ни этому, ни другим милиционерам Санька не звонил.

Санька: 5. Учительница английского

Учительница английского языка Ася Иосифовна приезжала в школу на такси. Всегда. На нем же и возвращалась домой. Деньги, которые она тратила на проезд на работу и с работы, и ее зарплата находились приблизительно в одной весовой категории, но это учительницу английского особенно не беспокоило. Муж, кандидат наук и заслуженный изобретатель СССР, работал если не в три, то в две смены точно, и Ася Иосифовна могла себе позволить сию роскошь.

Предвыпускной 9 «Б» она приняла приблизительно с таким запасом знаний: лучшие могли посчитать по-английски до двадцати и с акцентом на пределе понимания поведать, который час и какую часть планеты занимает Soviet Union, государство рабочих и крестьян, оплот мира и демократии во всем мире (почему именно эту тему с пятого по восьмой класс вдалбливала ребятам дюжина англичанок, сменившихся за эти годы, они поняли как раз в девятом); худшие — два неоднократных второгодника — Дрижд и Степурко — не знали по-английски ни слова. Впрочем, утверждая так, Санька чуток палку перегнул. Одно слово они все же знали, даже два: fuck you!

С этих бойких слов и должна была начаться классная жизнь Аси Иосифовны. Должна была — но не началась. Когда эта красивая, с шикарной прической и великолепной фигурой, обтянутой кремовым с серебристой окантовкой костюмом, женщина зашла в класс, Саньке сразу подумалось: жаль красавицу! Месяца два, может, и продержится — молодая ведь, энергичная, полная сил.

Ася Иосифовна продержалась до выпускного вечера, чего не смогли осилить два бравых второгодника. Англичанка взяла 9 «Б» хард-роком. Такого удара под дых никто не ожидал. Зашла в класс на первый свой урок с небольшим чемоданчиком, вызвав всеобщее любопытство. Этим своим чемоданчиком она и спутала карты подготовившимся было к встрече с ней второгодникам. Дрижду — недолепку, существу с генетически отсутствующими понятиями о порядочности, совести и чести, способному одарить класс таким запашком, после которого присутствующие весь урок не могли опомниться. И дылде с грязно-серой физиономией и желтыми от табака зубами и руками Степурко, большому любителю потренировать кулаки на младших и слабых и полебезить перед одногодками или просто способными дать по зубам.

Негромко бросив: «Morning», Ася Иосифовна поставила на стол чемоданчик, открыла его.

— Да это же проигрыватель!

Пропустив мимо ушей коллективное удивление, она достала из красочного пакета с рекламой элитарной джинсовой фирмы «One» альбом «Led Zeppelin» со знаменитой «Immigrant song» («Песней эмигранта») и поставила диск на проигрыватель. После небольшой паузы в класс, словно гром и молния, ворвался Плант и — застонал, заголосил о несчастной скитальческой доле иноземца, схватил класс за горло, всех и сразу:

On we sweep with threshing oar,
Our only goal will be the western shore[1].

Хорошо, что ученики 9 «Б» перевода тогда не знали. И не только они. Ибо ничего себе цель, да еще и заветная!

Следом во «Friends» (в «Друзьях») не дала опомниться Пейджеровская гитара. Прокралась, влезла в душу и давай ее терзать, рвать на части:

Bright light almost blinding, black night still there shining,
I can't stop, keep on climbing, looking for…[2]

Несравненная и неподражаемая, ставшая классикой блюза «Since I've been loving you» («Потому, что люблю») ввела всех в транс. Класс замер, словно приговоренный к смертной казни.

…How I love you, darling…
Since I've been loving you,
I'm about to lose my worried mind…
Said I've been crying, my tears they fell like rain,
Don't you hear, don't you hear them falling,
Don't you hear, don't you hear them falling[3].

Добили всех печальная «Tangerine» («Мандарин»):

I was her love, she was my queen,
And now a thousand years between…[4]

и заводная, не унывающая «Bron-Y-Aur Stomp» (и как ее перевести?):

---

[1] Под грохот весел мы мчимся к заветной цели — берегу Запада (англ.).
[2] То яркий свет ослепляет, то тьма нестерпимо режет глаза,
Но я не могу остановиться, я продолжаю карабкаться и искать… (англ.)
[3] Ты не представляешь, как я люблю тебя, милая…
Любовь сводит меня с ума,
Я плачу, и слезы мои капают, словно капли дождя.
Неужели ты не слышишь этот дождь?
Неужели ты не слышишь этот плачь? (англ.)
[4] Я был ее королем, она моей королевой,
Но теперь между нами — тысячелетия (англ.).

Well if the sun shines so bright, or on our way
it's darkest night...
The road we choose is always right, so fine…[1]

Все были ошарашены. Во-первых, с пластинки звук был несопоставим с тем посапыванием и поскрипыванием, что удавалось выловить с удушаемого глушителями радиоприемника. Плант словно живой стоял перед глазами. Стоял и гипнотизировал, приказывал, делал с нами все, что хотел. Сказал бы он — замрите! — и все бы замерли, сказал бы — умрите! — и все бы умерли. Во-вторых, так в открытую — да еще в школе! — слушать запрещенных лидеров хард-рока «Led Zeppelin»! Казалось, сейчас ворвется милиция, кэгэбисты, армия — кто еще? — и всех арестуют. Всех!

Когда закончилась пластинка, класс с облегчением вздохнул: можно было перевести дух от столь неожиданной атаки. Ожили, обрадовались и два «факальщика»: скоро уроку конец, а они новую училку еще и на три буквы ни разу не послали. Так и авторитет можно потерять.

Не тут-то было! Англичанка молча раздала текст щемящей душу «Since I've been loving you». Объяснив, что это и есть домашнее задание — выучить слова песни, сложила свою музыкальную шкатулку и под громовую тишину вышла из класса.

Дрижд и Степурко очухались, лишь когда за учительницей мягко закрылась дверь. Скривив губы, чтобы прокомментировать выпендрежь англичанки, они уже было открыли рты, но — в класс вошел директор.

— 9 «Б», прошу внимания. В порядке эксперимента я разрешил новой учительнице иностранного языка продемонстрировать речь его прямых носителей. Но только что мне доложили, что в классе состоялся чуть ли не концерт чуждой нам западной музыки. Это правда?

Все молчали.

— Да пошла она... — по-шакальи, куда-то в пол прошипел Дрижд, но директор сказанное услышал. Услышал и успокоился. Он считал, что у школьников не должно быть дружеских отношений с педагогами. То есть учителям необходимо держаться на дистанции от учеников, даже наводить на них страх. Фразу, брошенную двоечником, он перевел по-своему: не понравилась классу новая учительница — и ладно. Учитель должен учить, а не нравиться.

---

[1] Яркое солнце или кромешная тьма поджидают нас в дороге
Но выбранный путь — правильный (англ.).

Через два дня к следующему уроку английского класс подготовился как никогда. Да и заданную на дом вещь «Led Zeppelin» все теперь совершенно по-другому воспринимали. Мелодия — хорошо, но когда знаешь, о чем поется… «Since I've Been Loving You, I'm about to lose my worried mind…» Любовь сводит меня с ума… Это уж точно!

Только двое не выучили текст — Дрижд и Степурко. Но тут нечему удивляться, для них это было обычным делом. Необычным стало другое: второгодники не явились на урок. Постыдились, что ли? До этого им нравилось, несмотря на многочисленные «двойки» и «единицы», ходить в школу. В ней они чувствовали себя королями, периодически избивая-воспитывая младших. А тут испугались показаться бездарями и дураками, испугались задания молодой учительницы. Ведь даже дворовые, постарше их, бандиты уважали и кое-чего знали из «Led Zeppelin».

И случившееся стало толчком к действию. Когда на следующем после английского уроке Степурко ударил кулаком в спину сидевшего впереди него отличника Валерку Кричалова, тот не ответил ударом на удар, но кое-что небывалое для себя выдал:

— Отвали!

Резкое словечко обожгло всем уши и заставило повернуться в сторону того, кто его произнес. Бугай Степурко поначалу растерялся, но, опомнившись, кинулся к ниже его на голову Валерке биться — защищать свой пошатнувшийся авторитет. Не тут-то было! Справа и слева от Валерки и позади второгодника как по команде выросли другие ребята. Еще двое не дали вылезти из-за парты Дрижду. Один против четверых Степурко в атаку не бросился. Мало того — как-то подрастерялся, после паузы промямлил не своим голосом:

— Пустите… поку-курить.

Пустите? Покукурить? Смотри ты, новое слово придумал! Иди! Трави органы. Дыши ядом, одним граммом убивающим лошадь. Скатертью дорожка!

С тех пор и перестал класс бояться второгодников. А вскоре и вовсе избавился от них.

А началось все с Аси Иосифовны и рокеров из «Led Zeppelin». Неспроста, видно, стали они классиками при жизни.

Но это еще не конец истории.

В апреле 197… Ася Иосифовна собиралась уезжать на «землю обетованную». Немало потеряв в деньгах за сданные авиабилеты, она все же осталась со своим классом до конца июня — конца экзаменов. Отсражавшись на последнем экзамене, выпускники направились к

Асе Иосифовне домой: она ушла чуть раньше, убедившись, что у класса все о'кей.

Накануне ребята сложились, купили хорошего вина, конфет, печенья, гору «белого налива» — любимых яблок Аси Иосифовны. Всегда веселая, неунывающая, она в тот вечер была в какой-то прострации, а при расставании разрыдалась — слезы текли и текли по ее милому лицу. Позже Санька понял, что это были слезы счастья, слезы радости за своих учеников. Они ведь тогда не на шутку разошлись: общались между собой и с Асей Иосифовной исключительно на английском.

Когда на прощание зазвучала пронзительная «Since I've been loving you», Санька, порядком осоловев от молдавского «Вишневого», рискнул пригласить любимую учительницу на танец. Пьянящий запах ее духов, близость красивого и доброго лица, ощущение сквозь рубашку упругих грудей чуть не лишили его разума. На счастье, закончилась мелодия, и он не успел поцеловать учительницу, на что уже было решился.

Муж Аси Иосифовны, улыбающийся подвижный добряк с классической копной, как у большей части изобретателей, волос, на прощание похлопал Саньку по плечу, сказал:

— Смелый ты паренек, даже слишком, далеко пойдешь. — И уточнил: — Если осторожным будешь.

Насчет «далеко» изобретатель оказался более чем прав. А насчет остального…

Много лет спустя вызубренный под присмотром Аси Иосифовны английский спас Саньке жизнь в далеких Арабских Эмиратах. Беспомощно распластавшись на горячем, как сковородка, и потерявшем в солнечных лучах цвет асфальте, он уже ощутил костлявую руку, потянувшую его в мир иной, но успел прошептать наклонившемуся к нему небритому старому арабу:

— Help me… Heart… Tablets from in a breast pocket…[1]

Спустя три недели, только-только вырвавшись из больницы, а заодно и из цепких лап ее Величества смерти, Санька зашел в центральную мечеть Дубаев и отдал должное здоровью рабы Божей Аси Иосифовны Щеглячик, своей учительницы, первой любви и заочной спасительницы. В арабской мечети он желал счастья и долгих лет жизни еврейской красавице.

Санька не знал, что владелица той, уже знакомой ему руки снова посмотрела в его сторону.

---

[1] Помогите… Сердце… Таблетки в нагрудном кармане… (англ.)

Санька: 6. Закон Ома

— Не знаешь закон Ома — сиди дома! Помнишь поговорку?

Пытавший Саньку преподаватель явно принадлежал к любителям наслаждаться чужими страданиями, к тем, с доброй душой, субъектам, которые в детстве бедных мурок с балконов сбрасывали. Он аж облизнулся в предвкушении скорого удушения-съедения очередного абитуриента. Смотрел на него, точно удав на зайчика.

Но и на старуху бывает проруха, как не раз и правильно говаривалось. Санька умышленно не ответил письменно на второй вопрос билета. Приманочку устроил, домашнюю заготовку в ход пустил. Ведь это же — закон Ома, вернее, Закон Жизни. Сила прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению. Так оно и есть.

— Помню! — не дал Санька мучителю насладиться моментом. — Только уточните, пожалуйста: имеется в виду для всей цепи или для ее участка?

Смотрел на «препода» как мог радостнее. Баш на баш, так сказать, улыбка за улыбку.

Тот на мгновение застыл, словно фотографировался, но через секунду ожил, зашевелился. Опытный был инквизитор.

— Весело, да? Шутник? На вопрос вопросом отвечаешь? Сейчас и я пошучу. Пройдемся, дружок, по всему курсу физики. С шестого по десятый класс. Как тебе, умник, такое встречное предложение?

— Хорошее, но не неожиданное, — нашелся Санька. — От Паскаля до Эйнштейна, говорите? От взаимно сообщающихся сосудов и механики Ньютона до радио Попова — и не только — и теории относительности? Больше скорость — меньше масса, то есть при скорости света масса уже фактически и не масса, а так... Правда, теория эта не совсем чтобы Эйнштейновская, кажется, Гук в своих письмах...

— Ах, так ты еще и всезнайка, оказывается! — усмехнулся мучитель. — Физик-лирик-кавээнщик! Ладно, убедил, не буду терять время, поставлю четверку, так и быть, считай, повезло, да и пора идти, готовиться к приему следующего экзамена. Иди и ты, отдыхай. Что? Ах, не согласен? Хочешь посражаться, испытать судьбу? Рискнуть?

— Риск вынужденный — безвыходная ситуация, — вздохнул Санька. — Если получу «хорошо», то в итоге наберу: «четыре» за сочинение плюс две «пятерки» — устный и письменный экзамены —

по математике да плюс ваша «четверка» по физике — всего восемнадцать, не проходную, почти уверен, сумму. Будем сражаться.

— Значит, решил рискнуть? — удивленно повел головой мучитель. — Пан или пропал? Смотри, не ошибись, пока ведь есть шанс и без боя взять высоту. И хороший, скажу тебе, шанс — восемнадцать баллов. Средняя оценка «четыре с половиной», если округлить — получим «пять». Только немного нужно подождать…

— Вот ждать-то я не могу и не умею, — почти перебил мучителя Санька. — Ненавижу ждать! Боюсь с ума сойти. Сейчас или никогда, все или ничего, уж извините за высокопарные слова. А не сдам, значит – не судьба. Но я все же постараюсь привлечь ее на свою сторону…

И Санька сражался. Отвечал, отвечал, отвечал. В один момент ему даже захотелось похвалить мучителя. Санька только-только начнет говорить, как тот, усекая все с полуслова, бросает следующий вопрос, потом еще и еще… И наконец не выдержал, сдался. Похвалил Саньку. Злой следователь превратился в доброго, если так можно сказать о любителе сбрасывать кошек с балконов.

— Зря ты кинулся в рискованные игры играть. Восемнадцать баллов вполне бы хватило. Я еще перед экзаменом получил из приемной комиссии информацию: среднего «четыре с половиной» в этом году во как достаточно, во! — сделал мучитель характерный жест рукой на уровне шеи. — Видишь, не только ты, но и я не спал в шапку.

«Вот и рисковал, чтобы не зависеть от того, спишь ты или не спишь, — улыбнулся Санька. — Чтобы не зависеть», — повторил, как заклинание, про себя.

Санька: 7. Молот

Он был невысок, но дерзок, отчаян и смел. Он ни дня не занимался ни борьбой, ни боксом. Просто с детства дрался. Каждый божий день. Руки и ноги его взлетали и опускались, словно молоты над наковальней, и было абсолютно непонятно, как от этой беспощадной и безостановочной молотобойни можно увернуться. Так что прозвали его правильно — Молот.

Он закончил, как и большинство дворовых драчунов, «малолеткой», на которой так же отличился, и продолжил парить молодые косточки во взрослом лагере. Когда Молот вышел из заключения в первый раз, Санька, его сосед по дому, учился в восьмом.

Когда Молот вышел во второй — Санька заканчивал институт. Изрезанное вдоль и поперек лицо, беззубый рот, рассеянный взгляд Молота давали понять, что на взрослой «зоне», в отличие от «малолетки», ему особо повеселиться не дали. Не слишком ли высокую цену кулачный боец заплатил за любовь в молодости подраться, выделиться хоть таким образом? Жизнь прошла за колючей проволокой, в перекличках, в рабском труде на каменоломнях. Жизнь прошла...

А может, ее и не было?

Санька вспомнил Молота не случайно. Вчера он ехал по их старому бульвару и на повороте услышал из открытого окна хрипотцу:

— Говою тебе, лафак, на Пожарке бутылки уже не принимают.

Санька повернул голову, и по спине словно мурашки пробежали — неужели Молот?! Он показывал своему компаньону по предприятию, называемому в народе «тара», пальцем в конец улицы и хрипел:

— Говою тебе, Васька, говою, не принимают.

Санька с трудом узнал Молота. Лицо того было поделено как бы на две половины. Одна, правая, была сизо-розовая с серыми пятнами, словно ее долго били, а затем в кипяток окунули. Вторая — с желтоватым, как у печеночников, оттенком, но вроде целая, с присохшим и забытым в углу рта бычком.

— Говою — не принимают...

«Ты смотри, — удивился Санька, — даже до таких цивилизация доехала. (Бутылки не принимают!) Доехала и... переехала».

Санька: 8. Учитель физики

Два бомжа сцепились насмерть, зверски курочили друг друга. Победитель (или оставшийся в живых) становился полновластным хозяином мусорного бака, стоявшего на территории дорогой автостоянки в центре города.

Обоих Санька знал.

Тот, что был повыше, в сером, изрядно поношенном костюме, в светлой, когда-то белой рубашке, при галстуке неопределенного цвета — бывший учитель физики, вдовец, пенсионер. На пенсию его спровадили. Новая директриса, присланная из гороно для укрепления кадров, решила, что старик слишком мягкотел для современной школы. За последние несколько лет учитель и в самом деле не поставил ни одной «двойки». Считал: кто хочет знать физику, того и «тройка» заставит задуматься. Кому же физика до фонаря, и «единицей» не проймешь. Не спасло учителя даже то, что для многих поколений учеников он был примером честности и порядочности.

Лишившись любимой работы, которой посвятил всю жизнь, он первое время не выходил из дома. «Как смотреть ребятам в глаза? — задавал себе один и тот же вопрос. — Воспитывал, говорил: нужно стремиться жить по-ленински, и договорился — вышвырнули как собачонку». Потихоньку учитель стал растворять тоску и переживания в горькой. Выпивал поначалу немного, но с каждым днем организм требовал горячительного все больше, что и довело былого кумира детей до нищеты. А потом он лишился и крыши над головой: падчерица не пожелала жить с «тунеядцем» и буквально вытолкала его за дверь. Судиться? Нет уж, увольте, — пошел бомжевать.

Второй претендент на право ковыряться в «престижной» помойке явился сюда как бы из противоположного лагеря. Всю жизнь (с небольшими и редкими перерывами) он просидел в тюрьмах, «кося», как сам похвалялся, под дурака (может, потому и выжил). И хотя был зэком со стажем (как-никак особо опасный рецидивист) и оставил след почти на всех зонах бывшего Союза, на роль рэкетира, бандита, вожака преступной группировки не подходил: ослаб телом и умом. Не наученный работать, побирался.

Сейчас он дрался за то, чтобы не мыкаться по городу в поисках пищи, не красть из чужих помоек (что всегда небезопасно), а иметь свою, к тому же сытную и расположенную недалеко от подвала, где ночевал.

Зэку удалось подмять соперника под себя и схватить за горло. Но убивать он не собирался: все же бомжевать — не париться на «зоне». Мял в пальцах кадык учителя и хрипел: «Уйди, сука, это мое, уйди».

Тот молчал. Лишь пылающие глаза кричали, какую душевную муку испытывает этот человек.

Санька не выдержал, подбежал, отшвырнул уголовника:

— Убирайся, подонок!

Зэк бросил на него исподлобья испытующий взгляд, но дергаться не посмел, отступил, обернулся к учителю:

— Ничего, интеллигентик, ничего. Не каждый день за тебя заступаться будут. Когда-нибудь одного подкараулю! Костюмчик и фейс так отглажу…

Он пробубнил что-то еще и ретировался.

До боли в сердце Санька жалел учителя, но, вспомнив, как не любил тот снисхождения и сочувствия, сделал вид, будто не узнал его:

— Потерпите немного, сбегаю вызову «скорую».

— Не стоит беспокоиться, молодой человек, все нормально, — перебил учитель, вытирая платком кровь с лица. — «Скорая помощь», потом милиция… Не хочу связываться с этой публикой. Уходите, прошу вас, пожалуйста, а то, чего доброго, и вас заодно…

Его «пожалуйста» напомнило выпускной экзамен по физике. Тогда учитель увидел, что Санька запнулся, готовый поплыть, и успокоил: «Не волнуйся, соберись, пожалуйста, с мыслями, возьми себя в руки. Ты ведь знаешь закон Шарля Кулона, сто раз выводил…» И Санька вспомнил, вернее, сформулировал тот закон сразу, в уме.

Санька не стал перечить учителю, упрашивать принять помощь. Взгляд учителя заставил его опустить глаза. «Мы во всем виноваты, мы! — корил Санька себя. — Заслуженный учитель — бомж, и все молчат! Моя хата с краю. Что-то надо менять, развязывать этот гордиев узел».

— Идите, идите, не беспокойтесь, — как бы прочитав Санькины мысли, подтолкнул его учитель.

Санька отошел, но в машину садиться не спешил. Стоял, ждал: вдруг вернется зэк. Но тот не появился…

Когда поздно вечером ставил машину на стоянку, ни учителя, ни зэка поблизости не было.

Утром позвонил главный редактор и напомнил: «Рукопись необходимо сдать максимум через две недели, иначе — вылетите из плана».

Выхода не было, и Санька взял отпуск: надо наконец дописать некогда заброшенную повесть, завершающую книгу.

Через две недели рукопись была готова. Можно везти. Да и машина заждалась на стоянке.

— Что-то давно вас не было видно, — встретил Саньку сторож. — Все пишете, так сказать, творите? Понятно. А у нас тут другие дела творятся. Менты вторую неделю шастают, покоя не дают. Бомжа нашего помните? Того чудика, что в костюме и при галстуке ходил, словно профессор? Знали его? Так вот, убили старика! И представляете кто? Следователь говорил, что даже он был поражен: проломил бомжу голову бывший одноклассник. Не дотянув до восьмого, он бросил учебу, впоследствии всю жизнь провел в тюрьмах и лагерях. И вот встреча одноклассников спустя пятьдесят лет. Со свиданьицем, как говорится. А что это вы так побледнели? Бомжа ведь убили, не кого-нибудь…

ЗАПИСИ

Великоморская улица

Леник шел с отцом по улице и тихонько, про себя, радовался. Наверное, глупо так вот просто улыбаться, но счастье, гордость и какое-то новое, впервые испытанное чувство переполняли его.

Соседи смотрели на них во все глаза, не моргая. А Леник гордо шагал мимо одной калитки, другой. Он уже большой — папке аж по плечо! Он все и всех понимает. Только не этих, которые, как по команде, выстроились и почти кланялись им:

— Здравствуйте, здравствуйте, с возвращеньицем!

— Вот мать и дождалась!

— И сынок, смотрите, как подрос! Как подрос!

— А вы, Владимир Дмитриевич, молодцом, молодцом…

— Добрый день, — слышалось в ответ.

«Да, папка — молодец, а вы? — думал рано повзрослевший Леник. — Где были вы, когда травили папку? Когда били папку? Когда увозили папку? Где были вы, когда арестовывали деда, который построил на этой улице первый дом, вызвал с Дальнего Востока своих однополчан, ваших дедов? Почему они грудью стояли друг за друга, сражаясь с японскими самураями, а вы — испугались какого-то «черного воронка»? Почему не перевернули его, не сожгли, не прогнали приехавших в нем ночных шакалов? Почему, как крысы, забились по норам и, дрожа, затаив дыхание, тянули до последнего — пока главный шакал не подох? Что видели вы в своей подвальной жизни? А папка видел Ад! Он его уже видел, а у вас еще все впереди…»

— Здравствуйте, здравствуйте, с возвращеньицем!

Леник с папкой проходили мимо очередной калитки…

Инквизиция

Я никогда не прощу *им* мучительной смерти великого Джордано Бруно, как и гибели той канувшей в бездну времени черноглазой красавицы-колдуньи, которой *они* располосовали железом чуткие молодые груди, раскаленными клещами изувечили нежные руки и стройные ноги, плетью расписали гибкую спину, чтобы в конце концов сжечь на костре.

Я никогда не прощу им расстрела моего дяди, любимого ученика Янки Купалы, поэта Валерия Морякова. Рано или поздно, в этой или в той жизни — отыщу палачей.

Ждите, гниды! Дрожите! И не вздумайте подохнуть до моего прихода!

С костров начинали — на них и закончите!

«И сорока пяти лет за глаза хватит»

У милой доброй моей бабушки было пятеро детей: две девочки и три мальчика.

Красивые, в нее, в бабушку, малышки умерли в детстве от дизентерии.

Сыновья…

Старшего расстреляли в двадцать восемь.

Среднего убили из-за угла в спину в двадцать девять.

Младший погиб в сорок четыре.

В юности, когда я лежал при смерти в Гомельском тубдиспансере, ненароком услышал приговор главврача:

— А пункцию-то зря взяли, теперь после сорока пяти он — не жилец…

Впрочем, Михаил Веллер в культовом рассказе «Гуру» счел, что некоторым «и сорока пяти лет за глаза хватит».

У меня осталось два года. Это немало.

Главное, чтобы не арестовали, как деда в тридцать пятом.

Чтобы не расстреляли, как его старшего сына, моего дядю, поэта Валерия Морякова в тридцать седьмом.

Чтобы не убили, как его среднего сына, моего другого дядю, директора Минской школы № 24 Леонида Морякова в сорок третьем.

Чтобы не залила после избиения мозги кровь, как у его младшего сына, моего отца…

И тогда все задуманное я успею воплотить в жизнь.

Успею! Должен успеть! И обязан воплотить!

Слабость

Я — слаб. Созданный из советского генетического материала, запуганный школой, коммуняками, ментами, неизвестностью, судьбою. Я слаб, очень слаб.

Я — один.

Но я — человек!

И потому я рискую, пишу, возвращаю из тьмы исторической несправедливости вычеркнутые нелюдями имена.

Почему черно-серый кардинал *Пятро Глебка* стоит во весь рост на престижном Московском кладбище, а прозаик с задатками гения *Лукаш Калюга* расстрелян на взлете и погребен в одной из ям-могильников людоедки Сибири? Сотни, тысячи безымянных могил! Между тем на проспекте Ф. Скорины, почти напротив бывшего кафе «Весна» (так назывался и первый рассказ *Лукаша Калюгі* — рок!), на месте которого в тридцатые годы находился Дом писателей, в желто-сером здании (где уничтожали этих писателей — снова рок!) служат люди, которым стоит мизинцем шевельнуть — и мы узнаем, где лежат классик белорусской литературы *Максім Гарэцкі*, географ *Мікалай Азбукін*, академики *Язэп Лёсік* и *Вацлаў Ластоўскі*, редактор «Нашай Нівы» *Аляксандр Уласаў*, зачинатель белорусской литературной критики *Адам Бабарэка*, краевед *Мікалай Каспяровіч*, поэты *Сяргей Фамін, Уладзімір Хадыка, Сяргей Дарожны, Мікалай Гвздоў, Сяргей Ракіта, Янка Туміловіч, Сяргей Астрэйка*, драматург *Васіль Шашалевіч* и его брат сатирик *Андрэй Шашалевіч (А. Мрый),* прозаики *Сымон Баранавых* и *Барыс Мікуліч*, языковед *Язэп Воўк-Левановіч,* один из организаторов и руководителей Слуцкого восстания *Павел Жаўрыд*, журналисты *Радыён Шукевіч-Трацьцякоў* и *Сяргей Знаёмы*, правовед *Рыгор Парэчын*, врач и литератор *Павел Каравайчык,* сотни других невинно убиенных. Где в Минске закопаны двадцать два белорусских литератора, расстрелянных в «американке» в ночь с 28 на 29 октября 1937 года? Двадцать два за одну ночь! Где?

И был же шанс узнать. Еще вчера. В начале 1990-х. Упустили. Наплевали на историю! Все время плюем на историю! Не желаем ее знать. Не хотим укрепить фундамент, на котором стоим. Стоим, не дергаемся, не шевелимся, молчим. Стоим в болоте и молчим. Молчим и уходим в землю. Болото засасывает. Медленно, незаметно. Все глубже вбирает в себя. Десять миллионов. Как тогда — тех двадцать два литератора…

История повторяется.

Козыревская церковь

Когда-то вблизи железнодорожной станции «Минск-Южный» (теперь район улицы Великоморской) стояла Козыревская церковь. С начала 1933 года в ней действовал центр подпольного антибольшевистского и антиколхозного сопротивления, организованного рядом религиозных деятелей и местных жителей: епископом Минска *Феа-*

фанам (Мікалаем Семянякам; первый раз осужден за «контрреволюционную деятельность» к двум годам лишения свободы в 1925 году), протоиереями *Уладзімірам Бірулем* и *Аляксандрам Яхневічам*, игуменом *Ніканам* (*Вараб'ёвым*), настоятелями Козыревской церкви *Янкам Зенюком* (тесть белорусского поэта *Янкі Бобрыка*), *Агабам Камягам* (отец девяти детей), *Мікалаем Цімінскім (Цымінскім)*, старостой церкви *Дзмітрыем Мараковым* (отец белорусского поэта *Валерыя Маракова*), бывшими монахинями Минского Спасо-Преображенского монастыря (находился на улице Преображенской, теперь Интернациональная; закрыт в 1920-е годы), после активными прихожанками Козыревской церкви *Аленай Галкінай, Ефрасінняй Гутор (Гутар), Ксеняй Лецка, Еўдакіяй Лукашэвіч, Ганнай Палянскай, Наталляй Сон (Зон),* прихожанками *Марыяй Ерахавец, Марыяй Палойкай, Ганнай Мініч,* прихожанами *Міхаілам Вішкоўскім (Віткоўскім), Міхаілам Дзігілевічам (Дагелевічам), Паўлам Копацем, Пятром Копацем, Пятром Макарчуком, Рыгорам Макарчуком, Іванам Пратасевічам, Усеваладам Тыдманам, Фёдарам Праціішчэвічам, Ігнатам Скромным, Еўдакімам Судаковым, Андрэем Тумарам, Іванам Філіповічам, Аляксандрам Чыстым, Кірылам Чыстым.*

Настоятелей Козыревской церкви *Мікалая Цімінскага (Цымінскага), Аляксандра Яхневіча,* игумена *Нікана* «вычислили» и арестовали почти сразу — в ночь с 4 на 5 апреля 1933 года. Бывших монахинь чуть позже — 27 апреля. Всех выслали в Сибирь.

Принятые меры посчитали достаточными, и до мая 1935 года (когда в организацию проник провокатор) другие священники и прихожане оставались на свободе.

10 августа 1935 года на заседании специальной судебной коллегии Верховного суда БССР было зачитано: «В Минске [антисоветскими элементами] под покровом церкви и исполнения религиозных обрядов происходило обрабатывание в антисоветском духе населения города и ближайших районов… тормозилось колхозное строительство и другие хозяйственно-политические кампании, имели место массовые выезды крестьян… и только после ареста этой контрреволюционной группы… в деревнях начался массовый прилив в колхозы…»

Члены организации получили от пяти до десяти лет лишения свободы (позже «скромные» сроки были увеличены или заменены расстрелом).

После процесса Козыревскую церковь большевики разрушили, но в 1943 году, несмотря на тяжелое военное время, местные жители восстановили ее (под руководством протоиерея *Іосіфа Голуба*,

осужденного за это в декабре 1945 года на 5 лет каторжных работ и этапированного в Северо-Уральский концлагер МВД Свердловской области).

После прихода Красной Армии сталинские опричники, как и когда-то, сровняли церковь с землей.

В оттепельные 1960-е и в перестроечные 1990-е годы участников судебного процесса «двадцати пяти» реабилитировали, но возрождать церковь было некому: почти никто из репрессированных из концлагерей не вернулся.

Нет в Козыреве церкви и до сей поры и, видно, никогда не будет: уничтожили тех, кому она была нужна.

Рукописи горят!

Года три назад, когда искал материалы для сборника произведений *Валерыя Маракова* и книги про жизненный и творческий путь поэта, в разделе *«Хроніка»* журнала *«Полымя»* (1928. № 10) прочел следующее: «В. Моряков пишет новую поэму *“Рабінавая ноч”*». Через полгода *«Полымя»* (1929. № 3) уточнило: «Новая поэма будет напечатана в нашем журнале». Подтвердил это и *«Маладняк»* (1929. № 3): «В *“Полымі”* готовится к печати поэма *“Рабінавая ноч”*, там же печатается *“Мая паэма”*» (по словам одного в будущем широкоизвестного критика, «глубоко пессимистическая» и направленная «против пролетариата»). В конце концов поэма *«Рабінавая ноч»* из-за «нацдемовского уклона» напечатана не была.

В шеститомном издании *«Беларускія пісьменнікі. Біябібліяграфічны слоўнік»* под редакцией *А. Мальдзіса* есть информация (Т. 4. С. 209), что 25 ноября 1928 года *«Чырвоная змена»* напечатала вступление к поэме. После долгих поисков выяснилось: в Беларуси этот номер газеты не сохранился...

Через несколько месяцев мне позвонили из Национальной библиотеки. Заведующая Белорусским отделом Людмила Рябок рассказала, что ее коллега из Российской Национальной библиотеки Николай Николаев прислал из Санкт-Петербурга вступление к *«Рабінавай ночы»*... К сожалению, только вступление. Сама поэма не найдена и до сей поры.

Первого августа 1937 года на большом костре в «американке» среди тысяч рукописей белорусских писателей вместе с неизвестными, не «проскочившими» цензуру или написанными «в стол» и арестованными произведениями *М. Багуна, С. Баранавых, А. Вольнага, П. Галавача, У. Галубка, Ц. Гартнага, М. Гваздова, С.*

Дарожнага, А.Дудара, М. Зарэцкага, С. Знаёмага, В. Каваля, Т. Кляшторнага, Д. Курдзіна, Ю. Лявоннага, Я. Нёманскага, З. Півававарава, С. Ракіты, А. Розны, В. Сташэўскага, Б.Тарашкевіча, У. Хадыкі, І. Харыка, М. Чарота, В.Шашалевіча и многих других горел и единственный экземпляр поэмы *Валерыя Маракова «Рабінавая ноч».*

Изречению «рукописи не горят» я теперь не верю.

Двойное совпадение

Камера была как камера. Воняло «Астрой», мочой, бетоном, потом, пылью, кровью, смертью — одновременно.

Пронизывало.

Сырость всюду, насквозь.

Откуда она? Ничего не лилось, не сочилось, не капало. А казалось, что камера вовсе и не камера, а брошенный в воду и заякоренный железный ящик-сейф с дыркой-клеткой-окном-пробоиной сбоку.

Он вошел, взглянул, понял: главный — тот, с тонкой шеей, крысиными глазами и пачкой «Кента» в синей жилистой руке.

— Нашего полку прибыло, — разжались губы-черви. — Слышали-слышали. Писатель, как же. Шура, покажи-ка грамотею место…

Началось.

Пришло время расплаты. Довыступался. Допрыгался, добрался до своей мечты — «американки». Сам этого хотел, рвался сюда, просил, умолял, настаивал, требовал. Каждым своим рассказом кричал, призывал, уговаривал: «Возьмите, арестуйте, я здесь, я противник вашего режима, его обличитель, ненавистник, судья — хватайте меня!»

Вот и получил, доигрался, додергался — взяли. И теперь станут воспитывать.

Сначала проведут курс лечения от любви к свободе, демократии, от стремления жить лучше. От ненависти — к тупости, несправедливости, неграмотности, лжи. Освободят от знаний, умения логически мыслить, сопоставлять, делать выводы. От всего человеческого, нерабского. И от души тебя тоже освободят.

Начнут с экзекуции. Профессионально, со знанием дела изобьют. Возможно, покалечат. И отбитая печень вряд ли восстановится.

Если не воспримешь первого урока и не дойдет, кто прав, — изнасилуют, унизят до беспредела, навсегда.

Если же и эта мера не прошибет зациклившуюся на свободе психику и не сойдешь с ума от полученных впечатлений, в камеру

пригласят твою жену. Приведут за ручку — тепленькую, молодую, красивую. Но не для тебя приведут!

Смотри, думай! Решай. Выбор за тобой. Видишь, у нас полная свобода. Зря ты кричал, что нет в стране демократии.

Камера была как камера. Воняло «Астрой», мочой, бетоном, потом, пылью, кровью, смертью — одновременно.

Одновременно умерли и они с женой. Через три дня. Она — от сердечной недостаточности, он — от инсульта.

Лежали рядом.

Он — весь в синяках, ссадинах, кровоподтеках, руки неестественно вывернуты. Одежда — клочья, ноги босые.

Она — в идеально сшитом по фигуре костюме. На голове — двухчасовой давности прическа. На правой руке — обручальное кольцо. Казалось, спала.

Казалось, они из совершенно разных судеб, жизней, миров. Но, приглядевшись, можно было обнаружить двойное совпадение: необыкновенная схожесть больших серо-голубых глаз и направленность их в одну сторону, в одну точку.

В дырку-клетку-окно-пробоину.

Единственный в истории

Его — и не единожды! — как пропагандиста всего белорусского еще до войны арестовывала польская полиция, в сорок четвертом расстреливало фашистское СД (был ранен, но притворился мертвым, что и спасло), приговаривали к десяти годам заключения большевики в победном для них сорок пятом (отбыл на Колыме — тринадцать), а он, вернувшись на Родину почти пенсионером, смог сохранить в душе доброту, сентиментальность и даже некоторую детскость: вырезал из периодики свои произведения или рецензии на них, просто упоминания о себе и собирал-наклеивал их в тетрадь — коллекционировал.

Не унывал он и когда его, поэта с довоенным стажем, на чьи стихи были написаны популярные песни, долго не принимали в Союз писателей. Членом союза он стал лишь за несколько лет до смерти.

Он едва не дотянул до девяноста (какой генетический запас прочности был у этого человека!), но так и не узнал, что именно он, *Сяргей Новік-Пяюн*, является единственным в истории Беларуси литератором, которого арестовывали три ненавидевшие друг друга режима.

Шеститомник *Мальдзіса*

Многие писатели жалуются: при Безродном Первом в стране царит такой застой, такая тупиковая ситуация, такая безысходность, что совершенно не о чем писать — нет сюжетов! Не увековечивать же, в конце концов, его, Безродного?

Загляните в биобиблиографический шеститомник *«Беларускія пісьменнікі» Адама Мальдзіса*, господа! Какие трагические, неординарные судьбы у наших же собратьев по перу *Вінцука Адважнага, Францішка Аляхновіча, Змітрака Астапенкі, Міхася Багуна, Міколы Байкова, Янкі Бобрыка, Ядвігі Бяганскай, Анатоля Бярозкі, Змітра Віталіна, Уладзіслава Галубка, Алеся Гародні, Міколы Гваздова, Станіслава Грынкевіча, Ігната Дварчаніна, Уладзіміра Дубоўкі, Уладзіміра Дудзіцкага, Кастуся Езавітава, Янкі Журбы, Рыгора Казака, Янкі Ліманоўскага, Язэпа Мамонькі, Сяргея Новіка-Пеюна, Міхайлы Піятуховіча, Язэпа Пушчы, Алеся Салагуба, Алеся Салаўя, Сяргея Фаміна, Сяргея Хмары, Міколы Цэлеша,* братьев *Васіля* и *Андрэя Шашалевічаў* и многих, многих других…

Да и Безродному, в конце концов, пора воздать по заслугам…

Не дожили

Не дожили до нашего времени таланты, появившиеся в эпоху относительного ренессанса (определение *Уладзіміра Сядуры*), так называемого периода белорусизации (1920—1929). В тридцатые — сороковые были расстреляны, погибли в тюрьмах и концлагерях, умерли в результате пыток: *Сяргей Астрэйка, Міхась Багун, Анатоль Вольны, Платон Галавач, Вільгельм Гараўскі, Мікола Гваздоў, Сяргей Дарожны, Ігнат Дварчанін, Анатоль Дзяркач, Алесь Дудар, Генрых Жарскі, Уладзімір Жылка, Міхась Зарэцкі, Сяргей Знаёмы, Васіль Каваль, Лукаш Калюга, Андрэй Капуцкі, Тодар Кляшторны, Сымон Куніцкі, Юрка Лявонны, Валеры Маракоў, Ларыса Марозава, Зяма Півавараў, Сяргей Ракіта, Леапольд Родзевіч, Сяргей Русаковіч, Алесь Салагуб, Юлі Таўбін, Аляксей Траецкі, Сяргей Фамін, Янка Чабор, Кузьма Чорны, Макар Шалай, Андрэй Шашалевіч (А. Мрый), Васіль Шашалевіч...*

Говоря о «нашем времени», я имею в виду конец 1980-х — начало 1990-х — пятилетие, когда был шанс вырваться на свободу.

Не дожили до нашего времени и сотни других самородков земли белорусской. Каждый из них был неповторимой индивидуальностью, обладал даром, выкристаллизованным столетиями. Репрессии,

пришедшие на смену белорусизации, не дали им возможности раскрыться, засиять во всем величии своего дарования. В государстве-тюрьме они были опасны, и их убили. Интеллектуальный генофонд нации, наработанный веками, в тридцатые – сороковые годы минувшего столетия был практически уничтожен…

Как возрождалась наша литература? Какие новые таланты явились в ней за последние пятьдесят лет?

В прозе — *Уладзімір Караткевіч, Іван Мележ, Васіль Быкаў, Янка Брыль, Іван Шамякін, Вячаслаў Адамчык, Іван Пташнікаў...*

В поэзии — *Рыгор Барадулін, Ніл Гілевіч, Алесь Разанаў, Яўгенія Янішчыц, Аляксей Пысін, Міхась Стральцоў...*

В критике — *Алесь Адамовіч, Рыгор Бярозкін, Варлен Бечык...*

Золотая двадцатка наберется, но… Сколько еще поколений будет восстанавливаться нация, пока вернет те сотни?

Поездка в Москву

Интересный эпизод из довоенной жизни В. Козловского поведал мне летом 1998 года Сергей Иванович Граховский.

«Был у меня друг, талантливый поэт Виктор Козловский, у которого в 1930-е годы появилась мания преследования. Накануне войны он лежал во 2-й клинической больнице, и его необходимо было отправить лечиться в Москву. Чтобы не было проблем во время поездки, его решили обмануть: сказали, что вызывают в Москву на пленум Союза писателей. Одели Виктора в лучшее — костюм, белая сорочка, галстук… Сопровождать его взялись Марья Константиновна (Хайновская. — **Л.М.**), заведующая нашим медпунктом, и директор Литфонда Левин. Приехали они в Москву, на Канатчикову дачу, и тут Виктор понял, что к чему. Марья Константиновна пошла оформлять документы, а к В. Козловскому, поскольку он был хорошо одет, подошел врач и спросил, по какому поводу приехали. Виктор ему тихонько говорит, что, мол, они привезли к ним в больницу сумасшедшего Левина. Врач ему поверил, кивнул санитарам, и те в мгновение затолкали Левина в палату. Позже пришла Марья Константиновна, и всё, конечно, сделали наоборот…»

Страх

Приехал в село Мрочки, что под Уздой, на родину поэта Виктора Козловского. В тридцатые годы энкавэдисты его не расстреляли (в отличие от большинства его собратьев по перу), но до

умопомешательства довели. В войну, боящийся собственной тени, он не заинтересовал ни немцев, ни партизан и, питаясь подножным кормом, дождался в своей землянке возвращения тех, кто некогда и сделал его невменяемым. «Освободители» сходу и с новыми силами взялись за свое правое дело по выискиванию недобитых ими до войны нацдемов, но Козловского не тронули. В этом плане большевики были большие гуманисты: сумасшедших не расстреливали. Зачем? Сам помрет, и пули тратить не придется. Но поэт не умер и еще несколько десятков лет провел в землянке, лишь изредка вылезая на белый свет в поисках хлеба. В одну из таких вылазок забытого Богом Виктора Козловского и заметил некто, впоследствии известивший о «находке» Союз писателей. Собратья по перу в беде бывшего коллегу не бросили, и через какое-то время он переселился в более-менее пристойный домик. Назначили ему и пенсию: не умирать же в новом жилище с голоду.

Виктору Козловскому — повезло: в отличие от своих друзей-поэтов Алеся Дудара, Тодора Клешторного, Валерия Морякова, Сергея Дорожного, Владимира Ходыки, его не расстреляли в подвалах НКВД, не сгноили в ГУЛАГе, а — похоронили на Родине. На Родине, захваченной русскими. По-русски читаем и на памятнике: «Писатель Козловский Виктор Иванович. Р. 6 сентября 1905 г. Умер 24 февраля 1975 г. Память брата и племянников».

Как рассказывали в начале 1990-х годов тогда еще жившие двое друзей поэта, многочисленные попытки найти контакт с Виктором, вернуть его к литературной деятельности встречали со стороны последнего категорический отказ. Страх жил даже в его притуманенном сознании.

Где?

Догнал, почему Хармс ненавидел старух. Догнал, но чувств его не разделил. Он их просто ненавидел, я же ищу ответ на вопрос: почему безграмотные бабульки так бесконечно долго живут?

Приехал на малую родину доведенного в тридцатые годы энкавэдистами до потери разума Виктора Козловского. И кто оказался единственно помнящим его как поэта? Соседка, девяностолетняя безграмотная старуха.

«Ох и любил Витька до войны в клубе выступать! – ошарашила, но на достигнутом не успокоилась и почти с молодым задором выдала:

Юных дзён нявыпітае шчасце
Ўзніме бунт стрывожанай душы.
Беларусь не будзе больш бадзяцца —
Залатым убраннем прашуршыць.

Как сейчас помню его черную, пышную, чуть волнующуюся от легкого ветерка шевелюру».

Да-с… Вот тебе и безграмотная…

Посетил в Скворцах, что под Дзержинском, дом (вернее, то, что от него осталось) прозаика от Бога (так говорил о нем Максим Горецкий) Лукаша Калюги. И кто рассказал, как Лукаш бегал здесь по лесам-лугам? Записывал стародавние песни, слова и обороты народного языка? Божье создание со сморщенным лицом-гармошкой и телом восьмилетнего ребенка, укрытом застиранным до дыр и бесцветья то ли платьем, то ли халатом.

Записал на диктофон воспоминания матери погибшего в войну неисправимого нацдема (его на прочность инквизиторы испытывали теми же методами, что и некогда еретика Джорждано Бруно), с мастерством и точностью Бунина описывавшую внешность Вацлава Ивановского и Костуся Езовитова. С нетерпением прилетел домой, перевел все с ленты в компьютер. Чуть дождавшись утра, помчался подписывать то, что вышло. И получил не подпись, а — неровный крестик в нижнем правом углу последней страницы…

Перечитал написанное и подумал: неправильно, сдается, ставлю вопрос. Нужно выяснять не «почему», а «где». Где найти ту безграмотную старуху, которая рассказала бы, как провел детство расстрелянный в двадцать восемь лет во внутренней тюрьме НКВД мой дядя, белорусский поэт Валерий Моряков?

Дом Лукаша Калюгі

Когда статья, писавшаяся к 90-летию со дня рождения *Лукаша Калюгі*, была готова и оставалось оснастить ее изобразительным материалом, компьютер показал, что располагает только фотографиями, помещенными в книге *«Творы»* (Мн., 1992) и параллельно, тогда же, — в периодической печати. В результате поисков выяснилось, что и в музеях-архивах республики нет ни одного портрета писателя. Выход в этом случае, как подсказывал опыт, был один — ехать на родину *Лукаша Калюгі.* Так было, к примеру, с Виктором Козловским: в деревне Мрочки (15 км от Узды в сторону Копыля), где он родился, я нашел неизвестный портрет поэта.

Фотографии из книги *«Творы»* свидетельствовали, что в деревне Скворцы Дзержинского района сохранился дом писателя. Есть в книге и фотоснимок могилы его матери. Но на месте меня, хотя и не сразу, ожидал сюрприз. Старое кладбище, как тут называют довольно большую довоенную часть деревенского погоста, заросло непроходимыми кустами и малиной. Пролазив по этим «джунглям» до темноты, я так и не смог отыскать могилу матери писателя. Но вода камень точит. В следующий приезд я был более настойчив. Когда обыскивал очередной «квадрат» кладбища, неожиданно наткнулся на небольшую, вырубленную в зарослях полянку. Сердце заколотилось, когда увидел надпись на стоявшем посреди ее памятнике: «Ольга ВАШИНА. Жила 26 лѣтъ. Умерл. сентября 25 дня 1911 г. Упокой Господи Душу ей».

Ниже была прилажена небольшая плита с портретом молодого человека и подписью: «Лукаш Калюга (пісьменнік). Вашына Канстанцін Пятровіч. 27.X.1909—2.X.1937. *Прымі, родная, сына свайго, бо магілы ён не мае*».

Дата смерти писателя указана неточно. Да что даты! И через пятьдесят лет потомки расстрелянных не знали их истинной судьбы, ибо после смерти главного убийцы всех времен и народов получили только бумажки-«реабилитации»: «Ваш отец (мать и т. д.) умер от инфаркта (инсульта, туберкулеза и т. д.) в тюремной больнице (лагере, на фронте, по дороге домой…)». И через пятьдесят лет многие из тех, кто не получил «реабилитации», продолжали жить надеждой на возвращение близких, ждали… «Уголовные» дела репрессированных, но не реабилитированных писателей и до сих пор остаются секретными даже для исследователей.

Рядом с этой могилой было еще две. Как потом пояснил мне Владимир Владимирович Ивашин (инвалид войны; вместе с сыном Николаем они и обновили могилы), тут похоронены отец и отчим *Лукаша Калюгі* (отец Владимира Владимировича).

Сфотографировав памятник и могилы, я вернулся в деревню: мне показали дом *Вашынаў*, и как было не узнать, живет ли кто в этой, по внешнему виду — забытой Богом, хибаре. Был полдень, но когда вошел (дверь была приоткрыта, а на стук никто не отозвался), оказался в полной темноте. В довершение всего на меня (говоря словами *Міхася Кавыля*, которые вырвались у него, когда в первый раз попал в одну из камер «американки») «дохнуло таким зловонием, что еле удержался на ногах». Немного привыкнув к темноте, несколько раз щелкнул фотоаппаратом, хотя почти ничего не

рассмотрел, да еще и фотовспышка слепила. Чувствуя себя непрошенным гостем, не стал задерживаться в чужом доме.

И был поражен, когда увидел, что получилось на фотоснимках: убогость жилища шокировала.

Без труда можно было догадаться, кого пригрел дом одного из самых талантливых сыновей Беларуси. Дом, что уже лет сорок как должен был бы стать музеем писателя (которого *Максім Гарэцкі* ставил в ряд первых прозаиков Беларуси), сегодня обжили бомжи. Вот так, по-бомжовски, отдаем мы дань уважения лучшим своим сыновьям. Писателя расстреляли, а чудом уцелевший дом (который в любую минуту может сгореть), где он родился и прожил до девятнадцати лет, превратили в бомжатник.

Утешали лишь найденные на старом кладбище могилы: есть еще люди, которые не хотят быть и не будут Иванами, не помнящими родства.

Если бы они знали

Поэта *Хведара Ільяшэвіча* они нашли и убили в Германии.

Драматурга *Францішка Аляхновіча* — в Вильне.

Литератора, языковеда, автора первого *«Практычнага расійска-беларускага слоўніка»* (вместе с *Максімам Гарэцкім*) и *«Расійска-беларускага слоўніка»* (вместе со *Сцяпанам Некрашэвічам*) *Мікалая Байкова* и участника *Першага і Другога Усебеларускіх кангрэсаў*, публициста и общественного деятеля, генерала *Кастуся Езавітава* большевистские ищейки (не без помощи лазутчиков и предателей) выкрали и доставили в вагоне-клетке в непотопляемую, знакомую им не по рассказам «американку». Год пытали, прежде чем загнать в могилу. Они убивали *К. Езавітава*, а в это же время в Ваттенштете печаталась его книга *«Беларуская нацыянальная вопратка. Беларускія прыпеўкі»*.

Если бы *Х. Ільяшэвіч, Ф. Аляхновіч, М. Байкоў* и *К. Езавітаў* знали, что их ждет, возможно, и не было бы теперь «американки»: ведь у них был шанс организовать ее уничтожение.

Если бы они знали…

Ответ на вопрос

Теперь ясно, что для сталинских опричников ответ на вопрос: «Арестовывать человека или нет?» — все же требовал предварительного решения: принадлежит ли подозреваемый к числу

людей мыслящих? Мыслящий — значит, анализирующий, делающий выводы, способный просчитывать ситуацию, рассуждать: «Правильно ли поступил “отец народов” вчера, как это отозвалось сегодня, что мы получим из этого завтра?». Мыслящий в состоянии оценить чьи-то действия логически, добыть истину, раскрыть глаза другим. А если так, следовательно, этот человек опасен и должен быть выведен из игры.

Чтобы не было таких «критиков», их выискивали и уничтожали.

Хотя, конечно, тут сталинистам было над чем подумать. Ведь трудно, почти невозможно понять, зачем понадобилось убивать своих же рабов. 150 миллионов безропотно отдавали свой труд, свою жизнь. Даже по приблизительным подсчетам, у каждого за тридцать пять — сорок лет бесплатного труда украдено не менее 50 тысяч долларов. (Кстати, до сих пор неизвестно, куда все подевалось.) Далее: если 150 миллионов (человек) умножить на 50 тысяч (долларов) и еще раз умножить на два (поколения), получится почти фантастическое число — 15 с двенадцатью нулями (15 триллионов!).

Но дилемма здесь — всего лишь на первый взгляд. На самом деле у них не было другого выхода. Тем и гениален оказался маньяк, что понял: теряя часть «дохода», но уничтожая докучливых умников, он продлевает свое пребывание в положении Бога. Это ему и удавалось до самой смерти.

Малоизвестная область

Одна из малоизвестных областей деятельности гэбэшников — это «воздействие на объект» через его близких.

Когда пять лет назад племянница основателя крупнейшего в двадцатые годы литературно-художественного объединения «*Маладняк*», одного из самых известных поэтов того времени, сказала мне, что ее сына довели до могилы *эти* (так она *их* называла), я верил и не верил — сомневался, но теперь…

Вопрос

Осенью далекого «нэповского» 1927 года в Минском Белпедтехникуме, который в разные годы называли то царскосельским лицеем, то гнездом и рассадником нацдемов, приступил к учебе выпускник Логойской семилетки, «хлопец з мглёўскага балота» (так о нем скажут позже, увековечив деревню с уникальным для Беларуси названием Мглё), по-своему неглупый еврейский паренек со звучным именем

Айзик. Правда, первая попытка поступить, сдавая наравне со всеми экзамены и даже посылая на них вместо себя друзей, провалилась. Решение поплакаться в райкоме комсомола неожиданно оказалось спасительным. Айзик был зачислен на первый курс. Вскоре «сомнительное» имя было изменено на «народное» — Алесь, а спустя еще несколько лет Айзик-Алесь стал литературным консультантом НКВД, составив достойную компанию небезызвестным Лукашу Бендэ, Михасю Климковичу и некоторым другим «бойцам невидимого фронта».

Вопрос: кому плачется Алесь Кучар в аду, когда очередной потомок подведенных им под расстрел однокашников, друзей-поэтов плюет на его могилу?

Похороны

Читаю в воспоминаниях поэта и доброго, честного, не сломленного ужасающей судьбой человека, бывшего узника сталинских концлагерей *Пайла Прyднікава:* «На похоронах Владимира Дубовки нас было только пять человек. Союз писателей СССР представляла Валентина Щедрина — консультант по белорусской литературе, Николай Гамолка и я — от белорусской писательской организации, племянник покойного Володя и дочка его давнего друга Адама Бабареки — Алеся. Вот и всё».

Нет, не все. Недавно, Павел Иванович, мы хоронили вас. Были *Сяргей Законнікаў* от «*Полымя*», *Алесь Пісьмянкоў* от «*ЛіМа*», *Навум Гальпяровіч* от Союза писателей, от «*Маладосці*», других изданий— всех не перечислить.

Умирать дома, на своей земле, — легче. Тебя проводят в последний путь друзья, товарищи, читатели, земляки. А кому нужен белорус на чужбине?

Но *Дубоўка* выбрал чужбину. Он боялся своих.

Кто следующий?

Из воспоминаний *Міхася Кавыля* (описываемые события происходили в конце апреля 1933 года):

...из камеры дохнуло таким зловонием, что еле удержался на ногах. Как пьяный опустился тут же возле двери на нары, между чьих-то худых, как у рахитика, ног. Посмотрел на огромную камеру. На нарах, на цементном полу один возле одного лежали, кто на боку, кто на спине, какие-то создания из «Ада» Данте.

...Вскоре после этой страшной ночи меня, чтобы не гонять «черный ворон» по Минску, перекинули из острога в «страшный дом» на Советской улице, ближе к следователям. В камере лежали голые на цементе Змитрок Поворотный[1] *и Чернявский, имени не помню...*

...Два гэпэушника полезли [под нары] к Макаренкам и стали тянуть их за ноги... Те бедолаги-смертники подняли такой крик и вопль, что всю камеру бросило в дрожь... Не помогли ни крик, ни хватание руками за цемент, за нары. Поволокли...[2]

Из воспоминаний *Міколы Хведаровіча,* восстановленных *Янкам Брылём* (описываемые события происходили в начале августа 1938 года):

Камера на десять человек, а нас там около сотни. Мокрые от пота, в одних трусах, лежим просто один на одном.

А параша сорокаведерная аж бродить начинает от жары. Утром надзиратель откроет двери, а сам в сторону, чтобы вонью с ног не сбило![3]

Отрывок из дневника *К. Чорнага* (запись от 3 октября 1944 года):

В ежовской тюрме [в камере-одиночке] осенью 1938 меня сажали на кол, били большим железным ключом по голове и поливали избитое место холодной водой, поднимали и бросали на рейку, били поленом по голому животу, вставляли в уши бумажные трубы и кричали в них во все горло...[4]

В подвалах ГПУ-НКВД почему-то всегда было безмерно жарко и тошнотворно вонюче, но редко — тихо и «скучно». Особенно ночью. То закричит еще не потерявший от боли сознание пытаемый подследственный, то пронесется по тюрьме отчаянный вопль вытягиваемого, вырываемого из камеры, цепляющегося за нары и жизнь обезумевшего за минуту до смерти бедолаги, приговоренного к расстрелу. То эхо пистолетного выстрела сразу сотням мучеников заставит задать себе один и тот же вопрос: «Кто следующий?»

В подвалах ГПУ-НКВД почему-то всегда было безмерно жарко и тошнотворно вонюче, но редко — тихо и «скучно».

Кто следующий?

---

[1] Белорусский журналист. Арестован органами НКВД 2 апреля 1933 года. Этапирован в один из сталинских концлагерей. Дальнейшая судьба неизвестна.

[2] *Кавыль М.* Казённы дом і далёкая дарога // *Запісы.* 1992. № 20. С. 65—101.

[3] *Брыль Я.* Сцежкі, дарогі, прастор. Мн., 2001. С. 213.

[4] *Чорны Кузьма.* Выбраныя творы. Мн., 2000. С. 589.

Повышение

В том вагоне-телятнике в августе 1933-го молодые «националисты», осужденные «для начала» на два-три года, ехали вместе: поэты *Змітрок Астапенка, Сяргей Астрэйка, Уладзімір Дудзіцкі, Міхась Кавыль, Сцяпан Ліхадзіеўскі, Максім Лужанін, Юлі Таўбін,* прозаики *Змітро Віталін, Лукаш Калюга, Мікола Нікановіч,* переводчик *Сяргей Русаковіч,* литературный критик *Уладзімір Сядура,* выпускники Минского белорусского педагогического техникума *Сяргей Гайка, Франц Гінтаўт* и другие — упомянуть всех не могу[1], не знаю этого — да простит меня Бог! — не по своей вине.

Для кого-то высылка закончилась концлагерем и — в дальнейшем — расстрелом *(С. Астрэйка, Л. Калюга, С. Русаковіч, Ю. Таўбін),* кто-то погиб на чужбине в годы войны *(М. Нікановіч),* кто-то на той войне пропал без вести, чтобы в 1949 года снова (как когда-то в концлагере) воскреснуть и снова пропасть (*З. Астапенка),* кто-то спасся, изменив фамилию *(З. Віталін — Сергіевіч)* или «дислокацию» в пределах Союза (*С. Гайка, Ф. Гінтаўт, С. Ліхадзіеўскі),* а то и вырвавшись из него *(У. Дудзіцкі, М. Кавыль, У. Сядура).*

Лишь один человек из «пассажиров» того вагона-телятника не спасался и не вырывался. Инкогнито возвратившись через несколько месяцев в Минск, получил повышение по службе и отбыл на новую должность в Москву.

Так и служил «дорогой столице» то тут, то там почти до 92 лет.

Говорят, он отошел, прочитав мою «Гниду».

Гнида

Жила-была гнида. Точнее — стояла. На площади. Обыкновенная. Не тихая и не громкая. Умная? Не очень. Больше — хитрая, расчетливая, прошитая. С душой шакала.

С такой душой она и пережила десять эпох.

Детство гнидки (1909-1914) пролетело как сон, который она так ни разу и не вспомнила: плохо у нее от природы было с памятью, не досталось ей генов божественных. Хотя времена были веселые, столыпинские, распутинские— словом, интересные. Впрочем, в

---

[1] Вероятно, в том вагоне ехали и поэт *Клім Грыневіч* (умер в 29 лет от туберкулеза), бесследно исчезнувшие в неволе журналисты *Дзмітрый Паваротны* и *Аляксандр Карачун*, стильредактор Радиокомитета *Аляксандр Салаўёў*, литературный переводчик *Пётр Рагачэўскі*, литработник газеты *«Калгаснік Любані» Аляксандр Семянян,* студенты литературного факультета Минского высшего педагогического института *Аляксандр Кучынскі* и *Павел Чэрнік,* повешенный фашистами в августе 1941 года поэт *Алесь Пруднікаў.*

будущем беспамятство для гнидки станет только плюсом, положительным фактором, поддерживающей платформой, предопределившей дальнейшее ее существование.

Отрочество у гнидки (1915-1920) вышло сумбурное. Кто-то кого-то скидывал, насиловал, убивал, вешал, закапывал живым в землю. Тот, кто больше всех насиловал, вешал и закапывал,— победил. К победителю маленькая гнидка и залезла под мышку. Пахло там не очень, но зато было тепло. Вот к теплой жизни потом и стремилась гнидка все последующие годы.

Юность гнидки (1921-1929) почти совпала и в чем-то слилась с известной «Юностью Максима» и получилась бойкой, напряженной и, главное, удачной. Сама гнидка еще была чистенькой и старательной. Выучилась читать, писать, стала грамотной. Но звезд с неба не хватала: не лезли звезды в маленькую головку. И гнидка потеряла интерес к учебе. Все больше норовила уклониться от нее, улизнуть, прокоротать время. Тогда-то ее и прозвали Коротайкой. И стала она завидовать некоротайкам, большеголовым и прочим умникам. Завидовала, но глаз с них не спускала. Ходила, как хвост, за ними повсюду, подслушивала их речи, запоминала произнесенные ими высокие слова. И помаленьку научилась выступать сама, говорить, как ей казалось, ни к чему не обязывающие, пустые речи. Призывать к братству, любви к Родине, миру и согласию во всем мире. Рассказывать о счастливом будущем человечества, торжестве справедливости, эпохе всеобщего счастья, полетах к звездам. Но смысла, нужности всего этого, как ни старалась, не понимала: не верила она в звезды, не ее это была вера. И потому начинала нервничать, злиться, копить злобу. Ждать лучших времен. Времен своих, узколобых, без всяких вер и заумностей.

Гнидка становилась гнидой.

И она дождалась. Наступила ее эпоха. Началась она со всеобщего головообрезания (1930-1940). Срезали не все головы, а только большие — умников-разумников разных. Наступившую эпоху гнида проскочила с легкостью. Потерпеть пришлось самую малость — подслушивающие безразмерные уши к голове приклеить. На всякий случай, для перестраховки, чтобы голова еще меньше казалась. И хотя безразмерные уши служили прежде всего для подслушивания, гнида не слышала стонов и проклятий идущих на плаху: «Ирод, ирод, ирод...»

Следующие несколько лет (1941-1944) для гниды были самыми тяжелыми. Пришли антигниды. Одна из главных гнид, спасая маленькую и через нее — свой род, спрятала ее в своем чреве. Антигниды придавили большую гниду, но в нутро ее не полезли.

Однако гнид было тьма, а антигнид — кучка, и гниды победили (1945-1954).

Маленькая гнида вылезла из большой, запрыгала по песку, асфальту, поскользнулась, плюхнулась в лужу, ударилась, разозлилась, загавкала и… превратилась в собаку. Получила кличку: Лужа. Записали ее, отметили: Лужа Коротайкина.

Выписали цепь, дополнительную челюсть и назначили на должность главной собаки у Парнасских ворот. И стала гнида уже не просто гнидой, а гнидищей. И прогавкала она этак годков десять, пока не ущипнули ее за место пикантное:

— Тихо! С гавканьем — погоди! Теперь мяукать будешь. Не скули: это не навсегда.

— Есть! — отрапортовала собака, лягнула себя по морде и превратилась в кошку:

— Мя-у, мя-у, мя-у…

Жизнь у гниды-кошки (1955-1965) поначалу текла тихая, спокойная, тайная. Главной ее задачей было мяукать. На любой вопрос отвечать: «Мяу». Ничего не делать. Мяукать и спать. Главное, чтобы время не двигалось, чтобы все оставалось на месте, как есть.

Но в один известный день явились тени головастиков из прошлого. Явились, чтобы удавить выжившую на принадлежавших им костях гниду.

Гнида это знала. Но знала и другое: главное — выполнять данные ей указания: не замечать, не вспоминать, не реагировать. Забыть прошлое. И тогда оно само исчезнет, канет в небытие. И гнида дождалась: тени остались в стране теней, чуда возврата к жизни не произошло.

Зато ожила сама гнида (1966-1986): свято место пусто не бывает. И как ожила! Всю свою героическо-патриотическую борьбу за светлое будущее многотомно описала и в золоте выдала. И на каждом углу о ней заговорили, завосхищались, заудивлялись: вот гнидка, серость бездарная, а какие барьеры атакует, какие звезды с неба хватает!

В следующей эпохе — эпохе всеобщего временно разрешенного языкошевеления и ротооткрывания (1987-1993) — гниде повезло вроде меньше. Хотя — как сказать? Именно в эту эпоху произошло главное ее превращение — она стала двуногим. И это двуногое общалось с людьми, делало умный вид, хотя и отвечало на все вопросы молча. В том смысле, что вообще не отвечало. Кое-кто хотел проверить, есть ли у двуногого язык, но добраться до него не смогли: и близко к нему не подпускали — опыт, авторитет и так далее.

И, наконец, снова наступило время гнид (1994-?). Время двуногого. Правда, оно уже было старое, чуть живое, ни на что не надеялось, но — час настал. Воскрес, откуда ни возьмись, палач, вновь пошел махать мечом, и двуногое воспряло духом. Снова полетели головы. Конечно, только большие. Антиселекция продолжилась! Бессмертна аксиома: тупорылый раб дороже золота!

Как двуногое обрадовалось, засветилось, осчастливилось! Оно даже заулыбалось — впервые в жизни. Исчезла немота, прорезался голос:

— Дави головастых! Ишь, расплодились! Грамотными стали, советы дают: «На мир посмотрите!» Сейчас вы посмотрите! В последний раз! Дальше смотреть будет нечем, головы-то мы ваши — тю-тю!

И двуногому захотелось самому стать палачом.

— Что же, бери топор, — пошли ему навстречу, — руби головастых, режь, секи большелобых.

Потянулось двуногое к топору, ухватилось за топорище — ну-ка, ну-ка... Покряхтело-покряхтело, но — поднять не осилило. И огорчилось: «Старость...»

— О, да ты того, готов? Топора не смог поднять? Лаять тоже не можешь? И мяукать разучился? Такой нам не нужен! Пошел вон! Брысь! Кыш!.. Хотя — нет, постой! Что же это мы? Ты же — гнида, притом старая, проверенная, значит — нашенская. Потому гнать тебя взашей — несправедливо как-то получается. Ладно, пристроим. Будешь стоять на площади, показывать, что гниды жили, живут и будут жить. Вот тебе пьедестал, а вот и котелок с бронзой. Прямо в нее и закатаем. В бронзе тебе старость — нипочем. Будешь стоять вечно. Головастикам в устрашение.

И стоит гнида в бронзе на пьедестале людям в устрашение. И, устрашенные, не хотят те люди людьми зваться.

Надо отдать должное

Надо отдать метру должное: он был не только чемпионом по выживанию. За девяносто беспроигрышных лет осилил и другую совершенно невероятную науку — говорить правду, которая являлась ложью.

Робко так спросил у метра: пил ли он когда-нибудь с дядей водочку?

Услышал следующее:

— Хорошие минули времена, что говорить!

Как вам такой ответик? И как его понимать? Значит, все-таки пил? Но причем тут «хорошие времена»? Ведь это были тридцатые расстрельные годы! Ответ лживый и увиливающий. Не пил никогда чемпион по выживанию с дядей водочку. Вернее — дядя с ним!

Друзья друзьями, однако...

Многоопытный А. Каратай, в отличие от все же не столь прошитого А. Кучара, частенько ситуацию оценивал правильно и действия совершал безошибочные. После смерти жены, понимая, что не за горами и его кончина, рассудил верно: чем дальше ее, а потом и его похоронят от Минска, тем спокойнее им будет *там*. Друзья друзьями, однако это друзья из *Желтого здания*, а в нем нет друзей.

Не просочились

Они стояли на мосту, глядя в непроглядную муть Свислочи. Знали: там смерть. На душе было спокойно: несмотря ни на что, они останутся вместе. Втроем: он, она и ребенок, зарождавшийся в ней. Это был единственный выход, единственная для них возможность не разлучаться. Ей велели готовиться к очищению — так они *это* называли, а на него завели дело о совращении несовершеннолетней. Ее папа, генерал-чекист, поклялся: «Никогда в мой род не просочатся нищие поэты».

Не просочились.

Двое — нет, трое! — прыгнули с моста, обнимая большие камни.

Не дождаться чекисту продолжения рода.

Он знал, да я не успел...

Зимой 1999 года представилась возможность встретиться с одним из палачей, деятельность которого была связана с «американкой». Стоило «удовольствие» — пятьсот долларов США. Таких денег у меня не было, и я кинулся одалживать. Однако получить на время деньги, если ты в бизнесе, в работе, — одно дело, и совсем другое — если «сошел с ума и подался в писатели». И пока я собирал нужную сумму, палач покинул этот мир. Посредник передал: «Старик кое-какой информацией надеялся удивить. Он, кажется, знал неизвестные места захоронений. Вчастности, то, где лежат 100 деятелей белорусской культуры, расстрелянных 29 октября 1937 года».

Палач, оказывается, сожалел, что встреча не состоялась. Я — тем более. Именно для того, чтобы выведать эту тайну, я и собирал деньги. Случится ли еще такая оказия? Вряд ли.